

84 P7 (2P-4Kem)

0-38

3•1986

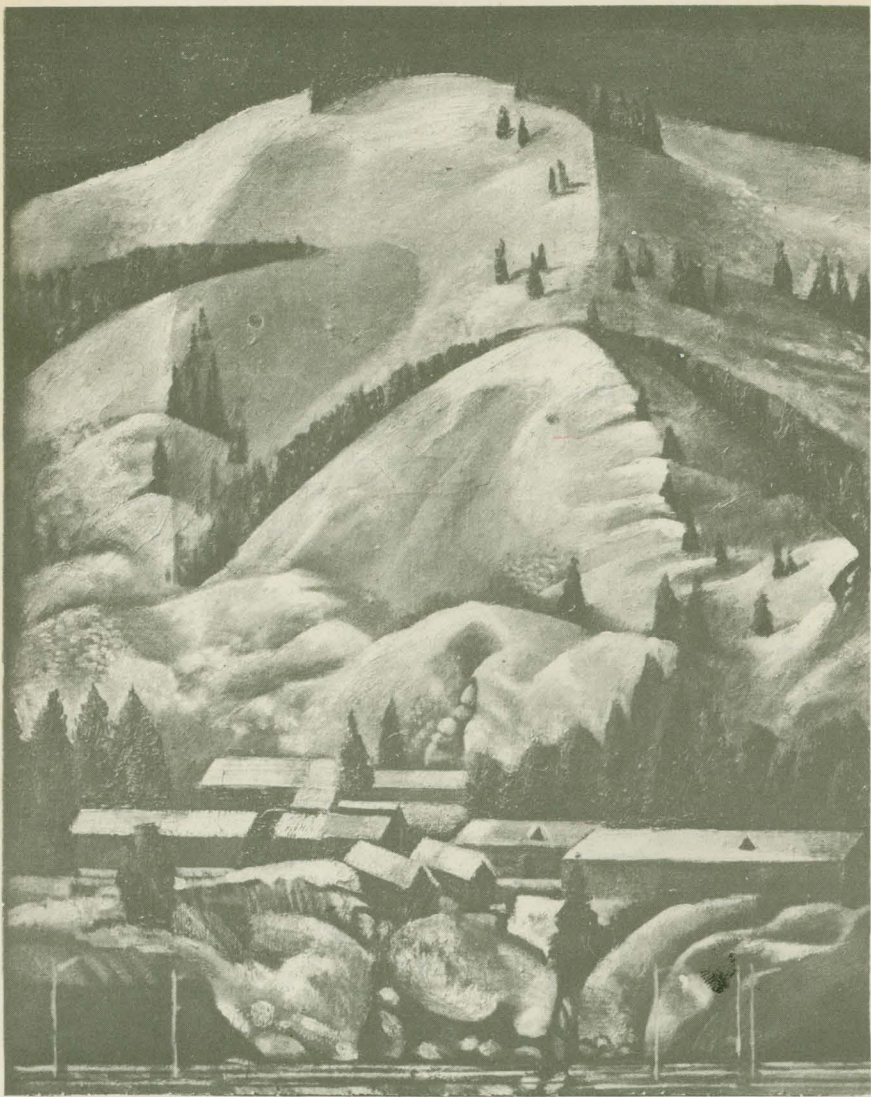
ISSN 0206—0248

ОГНИ КУЗБАССА

июль—сентябрь

5972765





Виталий Карманов (г. Новокузнецк). Зимний пейзаж. Х., м.

№ 3 (93)

Год издания 38-й

Выходит
ежеквартально

ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

84P7/2P-4v
0-38



390551

В НОМЕРЕ

Редактор

Владимир МАЗАЕВ

Редакционная коллегия:

Виктор БАЯНОВ

Сергей ДОНБАЙ

Геннадий ЕМЕЛЬЯНОВ

Валерий ЗУБАРЕВ

(отв. секретарь)

Владимир КУРОПАТОВ

Владимир МАТВЕЕВ

Валентин МАХАЛОВ

Зинаида ЧИГАРЕВА

Геннадий ЮРОВ

Кемеровское
книжное
издательство
1986

СТИХИ

- Николай Колмогоров. «В традициях русских полей...» . 3
Виктор Бокин. Возвращение. «Когда в ночи крепчает све-
жий бриз...» Шиповник. Разорванный ветром. В трид-
цать лет. «Все снега ждет...» «Весной, словно память о
прошлом...» . 37
Виталий Креков. «Где исток золотого тепла...» Исповедь
сибиряка Степанова, плотника. «Приехал в полдень...» 39

ПРОЗА

- Ольга Чернова. Угадай свое предназначение. Повесть, 6
П. Невская. Круги любви. 40

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

- Владимир Каганов. Мои далекие ребята. Приморье. . . 58

ПРОБЛЕМА? ДА, ПРОБЛЕМА!

- Борис Синявский. Когда умолкнет дискотека? 59

ПАМЯТЬ СИБИРИ

- Михаил Сорокин. Великий мастер. 71

ИСКУССТВО

- В. Кабин. Пальмы под крылом. 78

СЛОВО — КРИТИКЕ

- Владимир Шириев. «С землей живительная связь...» . . 82

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

- Юрий Пыль. Старик и старуха. 87
Дина Калитина. Про Курочку Рябу и золотое яичко. . 87
Василий Афанасьев. Число тринадцать. Собака о хозяи-
не. Текущие дела. 88

Адрес редакции:
650099, Кемерово-99,
Советский пр., 40,
тел. 6-85-14

Рукописи
не возвращаются

Составитель
В. М. Мазеев
Ведущий редактор
Т. И. Махалова
Художественный редактор
В. П. Кравчук
Технический редактор
Г. Н. Манохина
Корректор
Е. А. Царева

На первой странице
обложки: **Виталий Кар-
манов** (г. Новокузнецк).
Роспись кинотеатра «Ок-
тябрь» в г. Новокузнецке:
«Сказка».

На четвертой стра-
нице обложки: **Вита-
лий Карманов** (г. Новокуз-
нецк). Портрет художника.
Х., м.

НАШИ АВТОРЫ

Колмогоров Николай Иванович родился в 1948 году в Ке-
мерово. Автор трех книг стихов. Учится на Высших литературных
курсах в Москве.

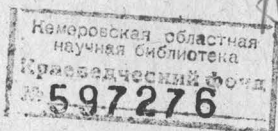
Бокин Виктор Васильевич родился в 1946 году в Новокузнец-
ке. Окончил металлургический техникум. Работал матросом в
рыболовецких совхозах Сахалина, после армии — вальцовщик
на Запсибе. Печатался в газетах и альманахе «Огни Кузбасса».

Креков Виталий Артемьевич родился в 1946 году в Алтайском
крае. Служил в армии, работал каменщиком-обмуровщиком,
кровельщиком. Автор книги стихов «Лицо твое».

Живет в Кемерово.

Каганов Владимир Львович родился в 1942 году в Кемерово.
Работал слесарем на заводе, лаборантом в школе, зав. музы-
кальным отделом в Доме ученых СО АН СССР. Его стихи
публиковались в коллективном сборнике, журнале «Памир», в
газетах.

Живет в Кемерово.



Сдано в набор 18.04.86. Подписано к печати 01.07.86. ОП00100. Фор-
мат 70×90^{1/16}. Бумага типографская № 3. Печать высокая. Усл. печ. л.
6.44. Усл. кр.-отг. 7.3. Уч.-изд. л. 8.11. Тираж 7000 экз. Заказ 8247.
Цена 45 к. Кемеровское книжное издательство. Полиграфкомбинат.
Адрес издательства и типографии: 650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.

Николай Колмогоров

«В ТРАДИЦИИ РУССКИХ ПОЛЕЙ...»



Мать солдата

Из Рязани, Тагила, Сибири
и откуда еще — не узнать! —
он лежит под звездой в могиле.
Ждет его, дожидается мать.
Ждет она...

Ожидания эти
невозможно представить душе!

А вернее всего, что на свете
нет и матери этой уже.
Помню только: под вечер, где глухо
облака залегли вдоль дорог,
молчаливо стояла старуха.
Темным ветром вздувало платок.

* * *

Все, чем душа болит,
проговори сейчас.
Потом — другое будет, не такое.
Другое — даже выслушать не даст
все, что теперь не сказано тобою.

Пока душа удобный случай ждет,
чтоб разразиться
поздним откровеньем,
вся эта жизнь опять уйдет вперед,
обдав лицо горячим дуновеньем.

* * *

В недолях северных широт,
где лето — с пригоршню ребенка,
где и в июне сыпанет
крупую белой вдоль поселка,
немного яркости. И все ж
одна мне верная порука:
мой край, он тем еще хорош,
что с ним бессмысленна разлука.
Я с детства полюбил глядеть,
как тает ночь и тьму уводит,

как постепенно лесостепь
в тайгу и горы переходит.
Непроходимый травостой —
шагну — меня пустить не хочет,
и костоломною росой
обдаст, и до ключиц промочит.
На крутосклоне спит колдун
тумана облаком забытым.
За дымною рекой табун
рассыпан древним алфавитом...

Перека́ти-по́ле

Несет этот кустик, ветрами несет,
и там, где уцепится, снова растет.
Не помнит отчизны, не знает

и доля такая — что скажешь о ней? корней,

Эх, доля такая! А наша — в семье, в трудах и заботах об этой земле, у отчих могил, где желтеет лесок, где в узел завязаны вожжи дорог...

В отрочестве

За воротами — сумерек страхи,
лес ордой обступает вокруг.
Как видение черной рубахи,
взмывший ворон берет на испуг.
Что там, что по-за крайней избою?
Это лошади смутным пятном
стабунились, и бледной горою
свет вечерний угас над селом.
Жутко выйти, душа обмирает:
все враждебно, все зыблется мглой!

Но какая-то тайна толкает за разгадкой своей мировой. И сначала дорога, а после узкий волок, что глушит шаги, поднимается к дальним покосам под увалы, останцы, белки. Выше, выше! До вечного снега, до ребристого камня вершин! Дотянуться ладошкой до неба — это ли не причина причин?..

* * *

Поля вокруг. Широкий створ
пространства, воздухом тугого.
За далью даль — везде простор.
Поля. И ничего другого.
Поля. Их летний хлебный пласт,
пласт золотой и черный, вешний,
и бесконечный зимний наст,
искрящийся и белоснежный —
все плоть и пот, все вечный труд,
все битва человека с тьмою!

Поля. Куда они текут,
стыкуя небеса с землею?..
Забыл я прадедов моих,
уже и дедов забываю,
но теплой памятью о них —
поля, я ими оживаю.
Опять, опять себя ловлю
на том, что жизни серединой
не осознал, за что люблю
их кроткий ответ голубиный.

В огромном городе,
 где затеряться проще,
чем в чьей-нибудь забывчивой душе,
на людях быть — не то,
 что в белой роще,
откуда свежесть катится уже.
Обдаст лицо! И вот, как пенот мая,

куржак черемух зыблется в логу.
Свои ладони ковшиком сжимая,
нельзя не поклониться роднику.
Заветный миг! Высокими столбами
стоят лучи в листве наискосок.
Идиллия... Но хорошо губами
разбить в руках подземный холодок.

Друзьям

На веселом застолье, друзья,
черт за нашими спинами бродит
и, табачным дурманом вися,
речи путает, чувства коробит.
Багровея, все круче шумим,
вот уже не расслышим друг друга...
Перед нашими лицами дым,
а в полях поднимается вьюга.
Поднимается в сумерках смерч
небывалого в мире циклона!
Но беспечного предостеречь
может только лишь гром

с небосклона.

Так и мы, чья похожа судьба
в том, что нежную лиру лелеем,
вечно слушаем только себя,
а друг друга беречь не умеем.
О поэты! Блеснувший успех
да не станет вершиной дороги!
Хлеба истины хватит на всех,
а бессмертье — почти на пороге.
Что бессмертье?! Живительный час
тот, когда околесицу споров
дух отчизны морозно обдаст
целомудрием снежных просторов...

Сказанье

Время жизни, люблю твой завет
рассказать о родимой земле.
Полечу через полымя лет,
опалю свою душу в огне.
Я увижу, что случилось уже:
вой орды надвигался стеной,
на последнем своем рубеже
русский князь

лишь кивнул головой.

Вот он поднял двуручную сталь,
вот смешался с народом своим —
и взревела задонская даль
ревом глоток под небом седым!
В тучах битвы, где лязгом подков
кони роют суглинок полей,

так теснится кольчуга полков,
что стоят и убитые в ней!
Чу! И дрогнула чуждая рать,
встрепенулся в зените орел:
верх возьмет, кто пришел отстоять,
в прах уйдет, кто насильничать шел!
Снова все породнится с землей,
новый круг обновления пройдет,
снова все возродится семьей,
новый хлеб в закрома соберет.
В этом, в этом природы наказ:
посягнувший

да канет на дно!

Только Родина силы нам даст
и спасет, и спасет заодно.

Имя

Что ты — имя мое?

Лишь при жизни в тебе я нуждаюсь.
Да и то — среди людей,
да и то — среди родных и знакомых.
Узок смысл твой весьма и весьма...
Кто я там,

где холмы, и деревья, и реки?

Кто я там,

где склонились хлеба золотые
низко долу и низко над ними в закате
на ночлег потянулись

безвестною горсткою птицы?..

Кто я там?

Я всего лишь душа человека.

Так всегда.

И на древних базальтовых плитах,
где олени бегут

уж не первую тысячу лет,

нет нам имени тех,

кто насек этот ветер движенья.

Нет нам имени тех,

кто насыпал курганы в степи...

Она не дождалась публикации этой маленькой, но в чем-то главной и определяющей ее творчество повести «Угадай свое предназначение». Хотя знала, что повесть готовится к печати и выйдет в одном из ближайших номеров альманаха.

При жизни у Ольги Черновой вышло две книги прозы — в Тюмени и на Урале. Ее повести и рассказы публиковались в периодических изданиях, в частности в журнале «Урал».

Многие годы своей жизни она отдала работе в Сибири, на Крайнем Севере. Северные края она знала далеко не понаслышке. Душу и характер сибиряка и северянина понимала глубоко и точно. В этом еще раз убеждаешься, читая эту повесть.

Ольга Чернова освоила не одну профессию, но, пожалуй, основная ее специальность — медицинский работник. Она помогла сохранить здоровье многим своим товарищам по нелегкой работе на Севере. Но не смогла уберечь себя. Так часто бывает с хорошими людьми.

Последнее время она жила в родном ей Гурьевске рядом с близкими людьми. Судя по всему, она была деликатным человеком, не стучалась активно в двери редакций и издательств, хотя по уровню своей творческой одаренности, казалось бы, имела на это право.

Валентин Махалов



Ольга Чернова

УГАДАЙ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

(Из записок Сони Шишкиной)

НА ПОРОГЕ РОДНОГО ДОМА

Сестру увидела еще с борта теплохода, когда причаливали. Первый теплоход с Севера. Встречающих — тьма. Но Лида пробиралась к трапу. Взмахнув мне на руки громадный букет сирени, чмокнула в щеку. Незаметно для Лиды спустила веточку сирени в темные воды реки, пусть плывет к берегам Карского моря: что бы ни делала, о чем бы ни думала, Леша всегда как бы рядом. Прошел год, как не стало его, но все еще не могу поверить в это...

Заняв очередь на такси, Лида радостно оглядела меня, засмеялась.

— Какая же ты стала взрослая, моя девочка, — сказала она.

— А ты, Лидочка, помолодела, похорошела!

— Ну что ты, — засмущалась Лида, — ведь мне уже за сорок!

В такси, когда сели рядом, обратила внимание — причесана Лида несомненно в парикмахерской. Взяв ее за руку, спросила:

— Ты замуж не вышла?

— Что ты, что ты! — замахала Лида рукой, испуганно поглядев в спину водителя.

— Не буду, не буду! — успокоила ее, вспомнив о строгих порядках в нашем доме: не выносить за его стены ничего, что касается нашей личной жизни.

Правда, соблюдать эти порядки, кроме Лиды, уже некому. Давно нет в живых ни отца, ни мамы. Мама пережила отца всего на три недели. Тихая, робкая, словно забитая, хотя отец за всю жизнь и пальцем ее не тронул, она всего боялась:

бога, людей; часто повторяла: «Как за каменной стеной — за отцом живем!» Обрушившись, стена погребла и ее.

— Уж как я рада-то, что ты наконец приехала! — в который раз повторяла Лида.

— И я, Лидочка, рада! Вот смотрю на тебя и не могу насмотреться, ведь ты для меня теперь и сестра и мать.

Я появилась у родителей, когда Лида была уже взрослой. Смолоду сестра выглядела старше своих лет: высокая, с плоской грудью и тощими ногами, она одевалась во все темное, а жиденькие неопределенного цвета волосы по-старушечьи закручивала в кренделек.

Сейчас время для Лиды будто остановилось: седина ей идет, она пополнила, округлилось лицо. Темные глубокие глаза смотрят на меня с нежностью и добротой. А на отвороте бежевой кофточки кокетливо алеет искусственная веточка рябины. Не узнать Лиды!

Сестра приготовила мне комнату, в которой мы когда-то жили вместе с ней. В доме за пять лет моего отсутствия почти ничего не изменилось. По-прежнему пахнет мятой. Запах мяты любила мама. Мятной белье перекладывала, мятой лечилась. Казалось, мама — маленькая, как девочка, с кротким лицом — вот-вот войдет. Родители умерли в распутицу — на реке еще стоял лед, а районный аэродром уже раскис, покрылся водой, и приехать я не смогла...

— Спасибо тебе, Лида! За все спасибо, — обняла я сестру.

Лида, должно быть, поняла меня, мое состояние, грустно улыбнулась, поцеловала в висок.

Утром, едва открыв глаза, увидела припиленную к стулу записку. Лида писала, что мне есть и пить и что рабочий день у нее заканчивается в половине четвертого. Если Лида ушла, то спешить некуда — решила я — можно и полежать. Странный сон приснился мне

нынешней ночью. Будто стою в очереди за билетами в драмтеатр, в старый, который давным-давно снесли. Подходит зоотехник Валерий Петрович. «Такая красивая пара, как мы, может без очереди билеты-взять», — говорит он. И ведет меня за руку через толпу к кассе. «Стыдно же это», — шепчу я. Вдруг вместо кассы — наши ворота. Вошли. Во дворе груды кирпича. И Лида с Валерием Петровичем начинают быстро-быстро закладывать калитку кирпичом. «Что же вы делаете, — удивляюсь, — как же мы теперь выйдем?» — «А нам и не надо выходить, — отвечает Лида, — у нас все есть!» — «Да, да, — вторит ей Валерий Петрович, — не надо выходить, так спокойнее...»

Вот ведь какая ерунда может присниться! Я поднялась. В одной рубашке пошла на кухню, к Лиде в комнату. Все у нас по-прежнему. На полу домотканые половички, те самые, по которым бегала еще в детстве, на подоконниках герани и кактусы...

Умывшись в огороде, где летом обычно вывешивали рукомойник, отправилась бродить по городу. Заметно изменилась наша окраинная улица — заасфальтировали дорогу, на месте мастерских школы механизации вырос пятиэтажный дом. За домом, где был школьный двор и постоянно трещали какие-то механизмы, теперь зеленеет молодой сквер, на ажурной металлической сетке висят портреты передовиков производства...

Уставшая, разомлевшая от жары, вернулась домой только к вечеру. Лида была в огороде, высаживала из парника помидоры. Пошла помогать ей. Взглянув на меня, сестра сказала:

— Ты бы отдохнула, Соня, одна управлюсь. Привычная. И сажаю теперь мало, только для себя, да знакомых иной раз угостить хочется.

— С удовольствием помогу тебе! — Обрадованная ее словами, я побежала за рассадой: ведь раньше в нашем доме не принято было угощать просто так, за

здорово живешь, — отец был чересчур бережлив, скуп. Да и знакомых у нас не было.

— Папа, как заболел, всем попустился. Ни с помидорами, ни с цветами на рынок не посылал. Сколько же я тогда добра повыбрасывала... — рассказывала Лида.

На огороде нас застал дождь — теплый, обильный. Уходить не хотелось. Так, промокшие до нитки, мы рассадили помидоры, пропололи морковь.

— Рассказала бы ты о себе, о Леше подробнее, — попросила Лида за ужином.

— Разве горе можно пересказать?!

— Так-то оно так... — вздохнула Лида. — Только стихия ведь не разбирает, кто справедливо гибнет, кто — несправедливо. Тут виноватых не ищут, каждый спасается, как может! И наш главный врач то же говорит, была же у Лешки лодка...

— Подумай, Лида, что ты говоришь! Если бы он бросил человека на явную гибель, как бы он потом жил? Как?!

— Не знаю, не знаю... — сердито сказала Лида. — Пропали он пропадом, Север ваш. И почему бы, Соня, тебе дома не остаться. Срок свой как молодой специалист отработала. Муж погиб. Ну что там тебя держит?

— Полярные маки, наверное... — улыбнулась я. — Знаешь, Лида, в тундре полно всяких цветов — ярких, красивых, но я больше люблю полярный мак. Невзрачный, на куцем стебельке. Нефтяники навалят здоровенных ящиков с оборудованием, все помнут, измолотят гусеницами, а полярный мак высунет из-под ящика золотистую головку, цветет...

Лида посмотрела на меня с жалостью, как на помешанную, вздохнула. Вздохнула и я.

Эту ночь в родном доме мне не спится: растревожила Лида. Накинув халат, вышла во двор. Свежо. Пахнет черемухой, хотя она уже отцвела. Белесо светится за забором тополь. Лучик света от уличного фонаря падает и на наше

крыльцо, упирается в угол, в стык между балаясинами и срубом сеней.

Это мой угол. Сюда ставили меня за непослушание — и отец, и мама, и Лида. Конечно, меня любили, даже баловали. Но почему-то ничего радостного припомнить из детства не могу, будто и не было его. А может, так оно и есть — путь за ворота мне был заказан, пока не пошла в школу. Родные боялись, не попала бы под машину, не сманил бы кто — мало ли негодяев, помянут конфеткой... А подружек, по мнению отца, и вовсе заводить не к чему: игрушек, слава богу, хватает!

Отец, кладовщик машиностроительного завода, происходил из старинной кержацкой семьи. Хвастал, у нас только в трех поколениях насчитывается до десятка наставников и наставниц. «Помолчал бы ты, отец, — тихо вздыхала мама, — к чему старое поминать...» Она была младше отца на двадцать лет, но, кажется, любила его. А может, робкая от природы, просто привыкла, почитала. Добрая, печально-красивая, она брала меня на руки, а позже — за руку, и мы шли к единственной нашей иконе, к образу Христа. На темной доске давно уже не было никакого образа, тускло просвечивал один-разъединный божий глаз.

Отец уверял: богу нашему около четырех столетий. Такой старый и одноглазый, он меня не пугал; куда больше я боялась отцовского гнева. Считая себя преемником предков, староверских начетчиков, отец держал в великом послушании и жену, и нас, детей...

Икона и сейчас на прежнем месте. Только божничка так густо заставлена цветами, что из-за горшков и зелени образа не видно. Должно быть, выбросить икону Лида не решается — вдруг бог все-таки есть. Но и на виду держать не хочет. Полная нежности к сестре, тихо смеюсь.

Может, в самом деле остаться дома, как советует Лида. Спокойная работа — с девяти до четырех... «Разберись в се-

бе! Слышь, разберись!» — доносится издалека голос Леша. На темно-синем звездном небе легкими пятнами скользят облака, шелестят за забором серебряные, точно из фольги, листья тополя. Хотела выйти за ворота, калитка оказалась замкнута. За ключом не пошла, опасаясь разбудить сестру. Снова села на ступеньку крыльца: и в самом деле пришла пора разобраться...

Да, ничто уже не держит меня на Севере, никакие полярные маки. Шутка всегда к месту, когда нечего сказать. И все же... Частичка того счастья, Лешиного, продолжает жить во мне. И, должно быть, это и есть то, главное, что меня держит. Боюсь потерять остаточное счастье свое. Не понимаю толком, в чем оно заключается, но чувствую: уеду — потухнет во мне что-то, прервется какая-то связь. И снова — в который раз! — думаю о себе, о Леше. За этот год я уже привыкла жить так, одновременно в прошлом и настоящем...

ЛЕША

На Север, в оленеводческий совхоз, меня направили после окончания медицинского училища. Тут и встретила я с Лешей Шишкиным. Он работал киномехаником при совхозной культбригаде, которую здесь называли по-прежнему — Красный Чум. Мне часто приходилось выезжать с Красным Чумом к оленеводам, к рыбакам.

Лешу я полюбила как-то стихийно, ни с чего. Так мне казалось. В нем было много мальчишеского и во внешности, и в поведении. Девчонкам из нашего училища он бы определенно не понравился. Долговязый альбинос с увесистыми кулаками, он был не очень многословен, скорее — молчалив. На меня не обращал никакого внимания, если нужно — окликал: «Эй, медичка...»

Издавательски спокойно звучали аккорды его старенькой облупленной гитары, когда я таскала на парту ящики с

медикаментами. Так он демонстрировал свое пренебрежение ко мне. Гитару я ненавидела. Но однажды в нашем чуме из шкур и брезента зазвучала мелодия романса «Я помню чудное мгновенье». И отчего-то стало так хорошо, что на глаза навернулись слезы.

Леша не пел, стеснялся своего глуховатого голоса. Он в детстве получил травму с деформацией носовой перегородки. Тонкий, как ниточка, шрам наискось перепоясывал его лицо. Когда Леша заиграл «Землянку», я стала подпевать.

— А ты ничего девах! — подмигнул мне Леша. — Хочешь, буду учить ненецкому языку?

Воспитывался Леша в детском доме здесь же, в округе, и с детства знал ненецкий. Так и началась наша дружба...

Весной Красный Чум командировали в самую дальнюю бригаду совхоза. Едва успели проскочить туда последним настом. Весна в тундре приходит как-то сразу. Кажется, и снегу еще много, прочный лед на реке, и вдруг, почти на глазах, низкие места начинают заполняться водой. Лед еще не тронулся, а реки, налившиеся тальми водами, уже вышли из берегов. Где она — река? Кругом безбрежное море...

Я устраивалась в своем закутке, за простыней, когда вошла хорошенькая, круглая, как колобок, ненка и, стеснительно улыбаясь, попросила меня зайти в соседний чум осмотреть женщину. Когда я вернулась оттуда за медикаментами, Леша спросил:

— Ты чего бледная, захворала, что ли?

— Она же умрет, Леша, обязательно умрет! — заплакала я. — В городе такое редко встречается, а у меня уже второй случай. Помнишь Марию, жену Ямая...

— Так она же не умерла!

— Хирурга вызывали, вот и не умерла! А здесь нет рации. Сломалась. И дороги нет, водой все взялось. И времени нет, у нее уже схватки!

— Да ты не паникуй, — сказал Леша, — надо же разобраться.

— Чего разбираться! Классический случай поперечного положения, не родиться ей, ребенок поперек лежит.

— И совсем-совсем ничего нельзя сделать? — уставился на меня Леша.

— Можно сделать поворот на ножку, — отчего-то смутившись, сказала я. — Но сейчас еще рано. Тут важно момент укараулить. Да нам, средним, делать это не разрешается, не положено по инструкции. Если не получится и женщина умрет, меня засудят, скажут — угробила! Врача надо...

Неожиданно Леша обнял меня, совсем просто, как сестру.

— Плюнь, Соня, на инструкцию! Ни о чем постороннем не думай. Иди, карауль свой момент, а врач будет. Переберусь на калданке на ту сторону, ведь лед еще не тронулся. А там, гривкой, уйду в третью бригаду, у них есть рация.

Мне вдруг стало страшно за жизнь Леша. Если удастся поворот на ножку, женщина будет жить, а Леше чуть ли не вброд идти около сотни километров. Кроме здешней, на пути еще река. В любую минуту может подняться, всплыть лед, а если в это время он окажется на реке?

— Нет! — закричала я, ухватившись за рукав Леша. — Не пушу!

— Чего ты! — удивился Леша. — Ведь надо же... Ну раз-два искупаюсь! А на гривку выйду — обсохну. Солнце-то теперь как греет! — Леша засмеялся, подмигнул мне. — Все будет хорошо, Соня!

И правда, все хорошо кончилось. К концу следующего дня прилетел вертолет с хирургом, а у нас уже родился мальчик. Удался поворот на ножку. Врач похвалил меня.

С Лешей мы встретились только через месяц на центральной усадьбе. Увидев его в поселковом Совете целым и невредимым, я так обрадовалась, что, не стесняясь председателя поссовета Вэнго, забыв о приличиях, обо всем том, что мне вну-

шалось с детства родителями, сестрой, повисла у Леша на шее. Спихватилась, услышав голос Вэнго. Он что-то сказал по-пенецки, Леша покраснел. Оставшись белым, четко нарисовался на лице рубец. Как ошпаренная, выскочила я из поселкового Совета. Леша догнал меня почти у дома...

Свадьбу мы играли в райцентре: обещал приехать Лешин воспитатель, он ходил на протезе, и Леша беспокоился, что до поселка ему «не дотянуть». Лев Семенович, Лешин воспитатель, мне не понравился. Он и на воспитателя мало походил, так себе — дядя из пожилых.

— Ишь, черт долговязый, какую кралячку себе отхватил! — сказал Лев Семенович, знакомясь со мной. И сразу стал рассказывать, как детдомовские ребята сделали лаз из овощехранилища в теплицу, как «паслись» там, пока их не поймали с поличным, и теперь «за брак в воспитании» директор приказал высчитывать из зарплаты Льва Семеновича двадцать пять процентов.

— Подсчитали, понимаешь, приблизительно убыток и наложили контрибуцию. Незаконно же это, Лешка! Но я решил не протестовать, хотя директор на это весьма рассчитывал. Он же просто попугать меня хотел. А я думаю: черт с ними, с процентами, зато эффект какой! Ребятам стыдно... А совесть, ее тоже время от времени тренировать надо. Я хитрый! — Лев Семенович подмигнул.

Тут я поняла, откуда у Леша такая привычка — подмигивать.

— Ну да, зазря деньги выбрасывать, не стал бы так хитрить! — сказал Леша.

Я фыркнула. Получив зарплату, Леша сразу соображал, куда бы ее поскорее сбыть. Однажды приволок в стойбище ящик с конфетами, роздал ребятам: «Подсчитал, на пальто не хватает, купил конфет...»

А Лев Семенович, как заведенный, все восторгался сообразительностью ребят:

— Понимаешь, из кирпича выложили, честь честью. И что удивительно, ведь

никто из рабочих этой проделки не заметил!

Оказывается, в детском доме прокладывали новую теплотрассу, ребята помогали. Попутно и устроили траншею под стеной овощехранилища.

— Голову даю на отсечение, мои ребята нигде не пропадут! — Лев Семенович взмахнул рукой со скрюченными, изуродованными пальцами. Заметив мой взгляд, сказал: — Это мне на Пулковских высотах пальцы помяло, и ногу там оставил...

Санитарочка из районной больницы согласилась «скуляmericить», как она сказала, свадебное платье для меня. Леша купил в раймаге хороший черный костюм, а рубашку ему подарил Лев Семенович. Гостей на свадьбе было много. Леша приглашал всех — знакомых, малознакомых и даже совсем незнакомых. Если он успел в этот день с кем-либо перебраться парой слов, то считал, что уже познакомился. Оттого, что скрыла свое замужество от родителей, я сидела за столом печальная, а Леша дурачился и, обнимая меня, кричал на весь зал районной чайной, где праздновали свадьбу:

— Не горюй, Сонечка, за мной не пропадешь!

Не прошло, однако, и полгода, как Леша заявил:

— Хватит «шарманку» крутить, поеду в разведку к геологам...

Шарманкой он обычно называл свой старенький киноаппарат, когда у него что-либо не ладилось.

— Леша, — пыталась вразумить я, — ведь ты киномеханик, другой специальности у тебя нету, образования восемь классов... И ты забыл, по какому заболеланию тебя досрочно из армии освободили? Практически ты здоров, но работа на буровой тебе противопоказана, там техники много, вдруг травма...

У Леша была пониженная свертываемость крови — гемофилия.

— А голова на плечах зачем?! Пойми,

я могу сделать больше, чем делаю. Должен же у меня быть свой передний край... А кино крутить Салиндер станет. Он массовик, ему и карты в руки. По аппарату подковал его на сто с хвостиком...

Два дня я не разговаривала с Лешей. И он смирился.

— Ладно, — сказал он, — отработаешь свои три года, и тогда мы вольные птицы, куда хотим — туда летим!

ЛЕША ПРИДУМЫВАЕТ ИСПЫТАНИЕ

Зоотехник Валерий Петрович перевелся в наш совхоз из фактории. Рассказывали, будто у него на фактории был роман с кладовщицей. И ее муж, охотник, вернувшись с промысла, грозился убить Валерия Петровича. Из-за этого и перевелся. В дальние бригады Валерий Петрович ездил с Красным Чумом: в дороге есть кому за животными приглядеть: развелось много волков — оставлять оленей на ночь без присмотра было опасно. Когда Валерий Петрович впервые зашел к нам, я даже растерялась: мне еще не приходилось встречаться и разговаривать с такими красивыми, элегантными мужчинами. Стало стыдно за нашу плохо обставленную комнату, за куцый халатик, который носила чуть ли не с седьмого класса.

Посмотрев на меня, Леша ухмыльнулся и с невинным видом спросил у Валерия Петровича:

— Вас в кино сниматься не приглашали?

— Нет, — засмеялся зоотехник, — в кино приглашают людей соответствующей внешности и талантливых. Ничего такого, к сожалению, за мной не водится.

— Пожалуй, — согласился Леша, — а вот в манекенщиках вы бы карьеру сделали!

— Как не стыдно, Леша! Извините, пожалуйста, его, — вмешалась я.

— Ничего, ничего! Я человек не скан-

дальный, сживемся, сработаемся, — успокоил меня зоотехник. — Последнее дело — выяснять отношения по пустякам: это не так, то не этак, книгу жалоб подайте...

Сказав это, Валерий Петрович точно руки Леше развязал. Так и повелось с первой встречи — Леша то прозвище зоотехнику придумает, то нагрубит. Валерий Петрович на выходки Леша иронически улыбался и, казалось, не обращал на него внимания — человек интеллигентный, да и возраст за тридцать. Я же постоянно одергивала Лешу, ставила в пример Валерия Петровича; выдержанный, непьющий, чистюля, каких поискать, по чemoдану рубашек в командировку набирает.

— И правда, Сонька, чего я на него взъелся, может, приревновал? Ты же, как юла, туды-суды завертелась, едва он вошел. Еще бы, в беломедвежьем углу нашем такое лакированное чудо с галстуком... А куртка у него мировая! — хотогнул Леша. — Слушай, может, меня зависть берет, что не могу напялить барахла, какое на нем. Да, тут, как говорил сержант Тарасюк, разжуваты треба! Куртка небось сотни две стоит. Куплю такую робу, гад буду! Ладно, не переживай. Не буду больше задирать зоотехника, слово даю...

Однако на следующее утро, пока Валерий Петрович умывался, Леша успел подменить ему рубашку. Чистую прикрыл журналом «Огонек», а грязную сложил, как чистую, и положил рядом. Чум, хоть и скомбинирован с палаткой и довольно просторен, все-таки чум. Не сразу отличишь чистое от грязного. И Валерий Петрович, ничего не подозревая, нарядился в грязную рубашку. И так ходил весь день. Вечером хохотали, как заполошные. Вместе со всеми смеялся и Валерий Петрович, а потом вдруг сказал:

— У нас много говорят о духовном, гармоничном развитии личности. Заметьте — личности! — а далеко ли мы ушли от животного как такового. Инстинкт

самца при виде соперника победить не можем... Животные в этом смысле куда благороднее, загодя трубят: «Иду на вы». А человек выкинет какую-нибудь каверзу...

Леша вскочил и вышел из чума.

— Вот так, не в бровь, а в глаз! — усмехнулся Валерий Петрович. — Простите, Сонечка, видит бог, — не хотел никого обидеть. Это не в моих правилах. Однако заглянуть в душу к Леше Шишкину до ужаста охота — непонятный человек! Чего ему не хватает? Работа — никакой тебе ответственности, платят прилично... Такая прекрасная жена... Не краснейте, Сонечка, я же вижу, какая вы нежная и терпеливая с ним. Да ведь Шишкину что о стену горох! По-моему, гармония личности совсем не в том, чтобы объять необъятное, — просто, каждый должен знать свое место в жизни. Это и есть гармония, и для окружающих, и для него самого...

Леша долго не было. Думала, ушел к пастухам в стадо. Прокипятила шприц, пошла делать укол жене бригадира, страдающей диабетом. Когда возвращалась, услышала в чуме голос Леша:

— Ты, Букетик, не очень-то рассыпайся перед Соней со своими идеями, ей предки голову замусорили, добавка не требуется. Услышу чего, разукрашу вывеску — родная мать не узнает!

Я не стала заходить в чум, была уверена: наконец-то зоотехник поговорит с Лешей, как положено. Но Валерий Петрович промолчал и на этот раз.

— Вы боитесь, что ли, Лешу? Вы не думайте, он не злой, просто его воспитывать надо! Давайте вместе... — сказала я, встретившись поутру с зоотехником возле чума бригадира.

— Увольте, увольте! — замахал руками Валерий Петрович. — Стал бы я кровь портить из-за разных идиотов. Для целей воспитания есть специально подготовленные люди, места, где этим занимаются, — колонии или что там еще... У

меня с такими местами знакомство не проектируется.

— Говорят, от сумы да от тюрьмы не зарекаются, — засмеялась я, — всякое может случиться.

— Ну уж извините, с сумой не пойду — об этом должно государство позаботиться, как-никак при социализме живем. Да и сбережения у меня имеются, седьмой год на севере комаров кормлю. И тюрьма по мне не заплачет: не раздерусь, не убью, в чужую квартиру не полезу!

Мне очень хотелось помирить Лешу с Валерием Петровичем. Выбрав момент, спросила:

— Леша, что ты конкретно имеешь против Валерия Петровича? Он ничего плохого не делает...

— А хорошее что-нибудь делает?! — взорвался Леша. — Понял я его, понял. Он мумия, навоз планеты Земля! Идем к пастбищу, а пастбища тю-тю: нефтяники обосновались, а Валерию Петровичу чего-то не сообщили, чего-то не оформили! В тундре места всем хватит — нам и нефтяникам, только мозгой надо шевелить, ногами. А он прилип к Красному Чуму, главный зоотехник совхоза! Плевать мне на Валерия Петровича, олешков жалко!

Олешков и вправду жалко. Зима в тот год стояла теплая. Оттепель за оттепелью. Олени из-за гололеда не могли добывать ягель. Голодали. Лето пришло жаркое — комар, овод тучами. Гнус облепит нос, глаза — бедный олешек крутится на одном месте, бросается туда-сюда. Еды много, а животные снова голодают. Конечно, надо бы новый маршрут разведать. Затесались в лощину, а в ней — ни ветерка...

Все свободное время Леша проводил в стаде. Однажды прилетел как угорелый.

— Валерий Петрович, вы почему здорового оленя выбраковали?

— А питаться чем? Забой в этом месяце запрещен — шкура дырявая, гнус по-

портил. Порядок-то надо соблюдать, вот и выбраковал! За одного оленя к ответственности никто привлекать не будет. С бригадиром я договорился, — сказал зоотехник.

— Договорился, договорился! Могли бы частного купить, из личного хозяйства.

— Покупай, если ты такой богатый, а у меня сестра с племянником на шее сидят.

Валерий Петрович и в самом деле был заботливым братом. Он почти каждый месяц посылал сестре посылки. Когда попадались хорошие вещи, считал нужным посоветоваться со мной, хвалил мой вкус. Однажды попросил примерить шубку из норки.

— Сестре тесновата будет, — вздохнул Валерий Петрович. — Но не век же мне в холостяках ходить, жене пригодится. И чего вы, Сонечка, с замужеством поторопились, вещь будто на вас сшита!

Я поспешила снять дошку.

— Вы, оказывается, еще совсем дитя! — усмехнулся Валерий Петрович, укладывая шубку в коробку. — Не знаете вы жизни, Сонечка! Вот сидим мы по милости Шишкина на консервах, а что в этом хорошего? Еще не известно, дойдет ли спасенная им шкурка до потребителя. Не вывезут вовремя — вот и стинет где-нибудь под навесом на фактории. Случается и такое. Я больше из-за этого с фактории ушел. Осточертели всякие комиссии, проверки. На нашей грешной земле, если хочешь спокойно жить, приходится к каждой кочке принаравливаться...

А Леша снова завел разговор о разведке:

— Не могу больше, у меня на душе такое, будто я предатель какой! В «Комсомолке» заголовок на всю страницу: «Нужны люди, нужны энтузиасты!» Некоторые за тридцать земель едут, а я тут, рядом, мультики два раза в неделю кручу. Нет, ты все же того... — Леша ткнул в висок пальцем.

— Нахал! Ну нахал... — заплакала я.

— Прости, Сонька! Нахал самый что ни на есть распоследний! Но не могу я жить, как Валерий Петрович, на уровне минимума: это входит в обязанности, это — не входит. Со скуки сдохнешь от такой жизни!

Леша обнял меня. Я пыталась вывернуться. Но Леша крепко прижал к себе, полой рубахи вытер мне слезы, сказал:

— Люблю же я тебя, дурочка! Ну давай будем вместе реветь, — взъерошив мне волосы, которые, несмотря на короткую стрижку, и так бывали не всегда в порядке, вдруг в самом деле заплакал.

Я растерялась, потом обрадовалась: значит, остается дома, со мной! Но Леша выморкался и сказал:

— Так и будем друг возле друга сидеть, как голубки, а жизнь идет... Лев Семенович как говорил: «Если не влечет на передовые рубежи, считай — ты умер». Нам едва по двадцать, неужели мы мертвецы? Я не согласен! Отпусти, Соня, добром. Я же не в Москву еду, тут, рядом... Каждый месяц видаться будем! Пока ты молодой специалист — тут поработаешь. А потом... Что, нефтеразведке медики не нужны? Еще как нужны!

Затолкав в мешок пару белья, не получив даже расчета, Леша уехал. У него были свои олени и нарта. Нарту он купил, а оленями его премировал совхоз за помощь пастухам во время отела, вернее — премировали важенкой-двухлеткой, но Леша от нее отказался.

— Не хочешь молодого мяса, бери пару старых шкур, — сказал бригадир, выдлив Леше хоров, на которых уже никто не ездил. Зимой, вероятно, их забили бы на приманку зверей или на корм собакам. Мясо эзовых оленей не едят, оно жесткое и невкусное.

— А ты разберись в себе! Слышь, разберись, — крикнул мне на прощание Леша, заваливаясь на нарту. Олени сорвались с места, и упряжка точно растаяла:

дорога за стойбищем круто уходила в низину.

«Это что же, значит, Леша все-таки ревновал меня к Валерию Петровичу! Тогда почему оставил здесь, наедине с ним...» — недоумевала я. Лешину упряжку снова увидела минут через пятнадцать, когда он поднялся на холм. Но уже ничего нельзя было разобрать — ни нарты, ни человека на ней.

— Дурак! Заполосный! — запоздало крикнула я вслед Леше. — Назло, назло закручу с Валерием Петровичем!

Весь день я бродила по стойбищу как неприкаянная — то в одном чуме посижу, то в другом. Больных, как нарочно, нету. Скука смертная! Наступил вечер. Федя, наюр и истопник наш, натаскал в чум кучу дров.

— Куда столько, и так теснота, ступить некуда! — рассердилась я, перешагивая через поленья.

— В поселок поеду, Валерий Петрович в аптеку срочно посылает, сами топить будете!

Федя рад неурочной поездке, у него в поселке девушка. Вот и наедине мы с Валерием Петровичем! Салиндер, масовик наш, в больнице лежит. Бросив пальто на козлы, служившие вешалкой, я прошла на свое место. Постелив плед, свалилась на постель, как была, в унтах, в шапке...

Снилось ли мне что — не знаю, но когда открыла глаза, в ушах, казалось, все еще звенит простенькая и грустная мелодия: «Не быть тебе, дева...» Этой мелодией Леша настраивал обычно гитару. В чуме тишина, жарко топится печь, мамино светятся ее стенки. Я поднялась, стала разуваться.

— Сонечка! — окликнул меня Валерий Петрович.

— Да идите вы! — Испугавшись своей грубости, затаилась. Тихо спустила полог над постелью. «Надо бы извиниться, ведь Валерий Петрович ничего плохого не сказал, зачем я так...» — мелькнула мысль. Но, не извинившись, натянула

бдейло на голову и тихонько заплакала.

— Ах, Сонечка, Сонечка, и за что вы его любите! — вздохнул Валерий Петрович.

Почти месяц от Лешы ничего не было, а потом пришло письмо, треугольничек, точно с фронта. Ладно, хоть марку догадался наклеить. «Я уже верховой рабочий, — писал Леша, — чуешь, как расту! Выше меня только птицы да небо. Хоров отпустил на пенсию, они ее заслужили. Сначала возле буровой бродили. Дизель загудел — рванули в тундру, на вертолете не догнать. Как поживает скотский лекарь В. П.? Сказал ему: приотронется к тебе хоть пальцем, под землей найду...»

А Валерий Петрович, как всегда, вел себя безукоризненно, паковал ящики с медикаментами, подвешивал к жердям полог над постелью.

— Удивляюсь, как вы додумались связать свою судьбу с Шишкиным, — сказал однажды Валерий Петрович. — Сорвался, уехал — куда, зачем? — ничего не понять! Ладно, взбалмошность — черта характера. Но неужели вы не замечаете, как он элементарно груб. Пусть воспитывался в детском доме. Какую-то культуру и там должны прививать. Не спорю, прилично играет на гитаре, я бы сказал — талантливо. Но что он играет? Допотопные песенки... У каждого времени свой эталон поведения. Ведь как сейчас дико выглядят споры комсомольцев двадцатых годов — носить ли парню галстук, а девушке — шелковые чулки. Вы — красивая девушка, у вас мечтательный, спокойный характер. Разве вам такой муж нужен?

— Никакого мне мужа не нужно! — отмахнулась я.

— Возможно! — усмехнулся Валерий Петрович. — А вот Шишкину определено нужна другая жена, ведь он вас оставил!

Я не стала отвечать на Лешины пись-

ма. Привыкла к мысли: нам придется расстаться! Что ни говори, Валерий Петрович прав — какие мы муж и жена? Решила подать на развод. Сообщила об этом Леше. И он нагрязнул. Объявил, что у него отпуск, как-никак год отработал...

— Мы с тобой вот так наотдыхаемся, — Леша ребром ладони приподнял свой подбородок, на котором красовалась модная рыжеватая бородка, подмигнул мне.

И все мои задумки о разводе пошли прахом.

— Скучала? — спросил Леша, обнимая меня. — Честно скажи, я вранье не обожаю, — он захохотал, схватил меня за руки, закружил по комнате.

— А за мной Валерий Петрович ухаживает, — сказала я.

— Чего?! — удивился Леша. — Я же по глазам вижу — любишь! Плевать я хотел на Валерия Петровича.

Накружившись, Леша усадил меня за стол, отошел в сторону. Посмотрев на меня внимательно, сказал:

— Соня, верю — не изменишь! И не буду я тебя ревновать, не старайся. Я все продумал, когда уезжал: мы должны выдержать испытание! А если... Такой любви и цена грош! Не о чем жалеть...

В серо-зеленых глазах Лешы заплескали смешинки. — Ура, Сонечка, мы выдержали испытание!

— Ненормальный! — сказала я.

— Удовлетворен и премного обязан, — дурашливо раскланялся Леша.

Вечером пошли к Вэнго. Леша купил ему фотоаппарат какой-то редкой марки. У председателя сидел Валерий Петрович. Они играли в шахматы. Встреча с зоотехником не очень обрадовала Лешу, но, должно быть, решил выдержать характер, не хотел огорчать меня. С Валерием Петровичем поздоровался за руку. Стал рассказывать, где и как купил фотоаппарат.

— Да... — вздохнул Валерий Петрович. — Я по туристической во Франции

был, там в магазинах что душе угодно — все есть! Грошовую покупку сделаешь — обслужат, будто полмагазина купил. А у нас — в очередь, да еще тебе же нахалюст.

— Ехали бы за границу! — сказал Леша. — Заявление куда следует, и, пожалуйста, езжай.

— Наивный ты человек, Шишкин! — засмеялся Валерий Петрович. — Не скрою, по-французски болтаю довольно прилично. Еще в институте меня отбирали в бригаду специалистов для работы в Алжире. Да потом что-то застопорилось, я и махнул вместо субтропиков в Заполярье. За границей жить, не просто надо деньги иметь — капитал! Да уметь этот капитал куда-то пристроить — в промышленность, в торговлю. А там конкуренция, то да се... Если ты не акула международного масштаба, запросто можешь остаться при собственных интересах: сегодня — предприниматель, завтра — банкрот, отправляйся в очередь на биржу труда. Меня, понимаешь, такая свобода не устраивает. Лучше уж буду жить при родной советской власти, надежнее как-то. Выработаю северный стаж — досрочная пенсия обеспечена. Куплю дачу. Машину — само собой. Ради веселья кроликов заведу. Надо же чем-то заниматься. Да и призвание у меня есть... И специализацию проходил по овцеводству и кролиководству, а работать тут пришлось!

— Есть призвание, нет призвания — работать все равно надо толково, — сказал Леша. — Надо спешить...

— А куда спешить? — улыбчиво прервал его Валерий Петрович. — Коммунизм никуда не уйдет. Это закон истории. Да, кстати, ты сам-то как себе представляешь коммунизм, что это такое?

— Это... Это такое, когда вы станете работать, а не деньги зарабатывать, прихлебатели несчастные! — Леша хлопнул дверью и был таков.

— Элементарной вежливости не научи-

лись, а собираются жить при коммунизме, — насмешливо сказал Валерий Петрович.

Вэнго задумчиво посмотрел на дверь, потом — на меня. Прошелся по комнате. Небольшого роста, щуплый, но с крупным смуглым лицом, он взмахом руки поправил прямые черные волосы, постоянно падавшие на его высокий плоский лоб, и несколько замедленно — по-русски Вэнго говорил хорошо, — словно бы обдумывая каждую фразу, сказал:

— Принципы коммунизма нам известны, но к общему знаменателю прийти пока трудно — у людей разные потребности, понятия о жизни тоже разные. Вероятно, они будут разными и при коммунизме, одинаковых людей не бывает, а знаменатель все-таки будет один — это человечность. Так за границей, говорите, продавцы вежливее наших?

— Никакого сравнения! — подтвердил Валерий Петрович.

— Обидно, — вздохнул Вэнго, — а знаете, почему у нас иногда хамят? Безработица им не угрожает. Сказывается и то, что рост благосостояния превышает рост производства. А у дефицита всегда кто-нибудь кормится — и материально, и морально. Не будь у нас лишних денег — не было бы дефицита, — вдруг засмеялся Вэнго. — А то хватаем что надо и что не надо. Поступили в продажу три норковых пальто — интернатская воспитательница в три ручья слезы льет: ей не хватило, последнее пальто Валерий Петрович взял...

— Мне нужно — я купил! Для сестры купил, — уточнил Валерий Петрович.

— Да, пожалуйста! Для сестры, для невесты — кому какое дело...

У меня запыхало лицо. Это я сказала Вэнго, что дошку Валерий Петрович купил для невесты.

— Когда мне бывает трудно что-либо понять, — продолжал Вэнго, — я оглядываюсь на историю своей страны...

— И там, в прошлом, вы находите от-

веты на все современные вопросы? — улыбнулся Валерий Петрович.

— Представьте себе — нахожу! — ответил Вэнго. — После войны нам объявили экономическую блокаду, атомной бомбой над головой размахивали, а у нас половина страны в руинах, люди раздеты, живут впроголодь. И за какие-то три десятилетия по ряду отраслей мы обскакали страну, которая вышла из войны не только не разоренной, а даже разбогатевшей. Ведь нам это чего-то стоило! Теперь дошла очередь и до красивых магазинов... Так что, Валерий Петрович, к тому времени, когда начнете заниматься кролиководством, машину, вероятно, сможете купить уже без очереди!

— Ну, товарищ мэр, с вашей стороны это даже нечестно, сразу на личности...

— Да почему же, — усмехнулся Вэнго, — кролику, конечно, далеко до оленя, но тоже мясо! Ничего зазорного в ваших намерениях не вижу...

Я любила спать, уместив голову у Лешы под мышкой. Устроившись так же уютненько и в тот раз, сказала:

— Вот Вэнго уел Валерия Петровича и без всякой тебе обиды, а ты все сплеча рубишь!

— Сравнила, Вэнго в университете учился... Но я еще свое возьму, за мной не пропадет!

— Хвастун...

Отец не одобрял мое «скоропалительное» замужество, и Лида не скупилась на описание домашних сцен, где из-за меня были виноватыми и мама, и Лида. Однажды сестра написала: «Чтобы выйти замуж за простого рабочего, да еще безродного, можно было бы и поближе к дому место выпросить». «Вот динозавры-то!» — удивился Леша, прочитав письмо. Встреча с отцом его не пугала, а я все-таки решила повременить и пока на глаза домашним не показываться.

Но куда бы ни ехать, а ехать надо! Это первый в нашей жизни отпуск. На

самолет решили не тратиться. Вэнго позвонил в округ, заказал билеты на поезд. Стали собираться. Леша считал, ехать следует налегке, без вещей, но, если захочу, соглашался тащить «пятипудовый» чемодан.

В эти дни он был на удивление нежен. Ему доставляло удовольствие носить меня по комнате на руках, щекотать бородой мое лицо, шею.

БЕРЕГ ОТДАЛЕННЫЙ

Отпуск провели в Ленинграде. Рыскали по историческим местам, были в Пушкине, в Эрмитаже... Жили на частной квартире. Адрес нам прислал Лев Семенович. Он родом из Ленинграда. Мне хотелось съездить куда-нибудь на юг, хотя бы дня на три. Ведь, кроме севера и своего родного города, который здесь, в Ленинграде, почему-то тоже считался северным, я нигде не бывала. Но Леша сказал:

— Давай оставим юг до следующего раза. Чего мы там не видели? Я в геологоразведочный техникум заявление подал. Заочно буду учиться. Экзамены бы не завалить! Целый год готовился. Инженера одного заарканил, он мне помог... Сама же говорила, образования нет, специальности нет...

Я слишком хорошо знала Лешу, чтобы не видеть — возражать сейчас бесполезно, и стала собирать вещи, а Леша обрадовался и побежал покупать резиновую лодку, которую облюбовал в магазине «Спортивные товары» и которая, по моему мнению, была ему совершенно не нужна. Когда он пришел со своей покупкой, веселый и довольный, решила поговорить с ним серьезно.

— Леша, — сказала я, — допустим, сдашь ты вступительные, окончишь геологоразведочный. А потом что? Так и будешь всю жизнь по белу свету рыскать. Другой специальности ты выбрать не мог?

— Мне эта нравится, я другой не хочу!

— А обо мне ты подумал?

— Подумал! Но почему я должен держаться за твою юбку?

— Ах, та! Хорошо, Леша, хорошо... Вот твой чемодан. Вот деньги. Езжай в свой геологоразведочный...

— А ты куда? — спросил Леша, отсчитывая себе деньги. Потом пересчитал мои. Решив, должно быть, что дележ справедливый, закрыл сумку, снова спросил:

— Куда ты?

— Ты уезжал на буровую — не очень-то докладывался! Почему я должна объяснять, куда поеду!

А я поехала к себе, на Север, мне еще полтора года работать...

— Софья Васильевна! — Надевая на ходу пальто, из поссовета выскочил Вэнго. — Почему телеграмму не дали, я бы встретил. — Вэнго забрал у меня чемоданы. — А медпункт уже красят — четыре комнаты. Совхоз вас полностью на свой бюджет берет. Фактория близко, и больница хорошая, да ведь за рекой — то ледоход, то ледостав...

Я пожала плечами: мне было все равно, где работать, от кого деньги получать!

— Да еще новость, — продолжал Вэнго, — Валерий Петрович уехал. Перевелся в райуправление сельского хозяйства, кабинетная у него теперь работа... А вы что такая скучная, здоровы ли? Как съездили? Алексей где? — забросал Вэнго вопросами.

Я не успела ответить, возле нас затормозила нарта. Пробежав добрый конец по бесснежью, олени тяжело повели боками. Сидорка, старший сын оленевода Ямая, заявил, что помирает отец. Привозили с фактории фельдшера. Тот отца лечить не стал, написал направление в больницу. Ямай послал сына ко мне, в поселок, узнать, не приехала ли.

— Но ведь я тоже пошлю Ямая в больницу, если он нуждается в стационарном лечении! — воскликнула я.

— Отец просил, чтобы приехала, — настаивал Сидорка.

— Хорошо, — сказала я, — едем!

— Беги, Сидорка, к бригадиру, пусть свежих оленей отловят, — сказал Вэнго, — Софья Васильевна с дороги, устала.

Ямай не умер. У него желудочно-кишечное заболевание, не очень тяжелое. Пришлось промыть желудок, посадить на диету. Пока гостила у Ямая, заезжал Леша. «Не сердись, ждать тебя нет времени. Экзамены сдал. Принят. Люблю. Целую. Заехал попутно», — прочитала я в оставленной им записке. Как потом выяснилось, «попутно» было крюком в тысячу двести километров.

Пошла к Вэнго узнать, не виделся ли с Лешей.

— А за вашу кандидатуру в депутаты поселкового Совета во всех бригадах проголосовали единогласно, — огорчил меня Вэнго еще на пороге.

— За что такая честь? — засмеялась я, приняв слова председателя за шутку.

— За добросовестное отношение к работе, — сказал Вэнго. — На вашей кандидатуре особенно настаивает Ямай. Рассказывал на собрании, как вы спасли жизнь ему, Марии...

— Ну, Ямай, положим, умирать не собирался, а жизнь Марии спас хирург, рискнувший сделать операцию на месте. На ее счастье, прилетел старый врач, которому приходилось делать операции и в более сложных условиях. Так что, заслуга моя невелика. И вообще, какой я депутат, беспартийная, общественной работы не веду...

— А теперь будете вести, придется вести! Подпишите вот эту бумагу — согласие баллотироваться, — Вэнго подвинул ко мне синий, отпечатанный в типографии бланк, а сам принялся читать акт санитарного состояния детского сада, что я принесла с собой. Проставил две пропущенные у меня запятые, ис-

правил какую-то букву, проницательно усмехнулся: русскую грамматику Вэнго знал прекрасно. Морщились, читая безграмотно написанные бумаги. Болезнь легких помешала ему закончить историко-филологический факультет университета. О чем Вэнго, кажется, не жалел, он слишком любил свою тундру и все, что связано с ней...

Так я стала депутатом поселкового Совета. А прошлым летом сел у поселка вертолет. Летчик пришел на медпункт, вытолкнул за дверь сопровождавших его мальчишек.

— С нехорошей я вестью, — сказал он, опускаясь на стул, — не знаю, как и сказать... Ваш муж Алексей Шишкин утонул в Карском море!

Поверить сказанному было невозможно, и я не поверила, даже улыбнулась:

— Как это утонул?! Что он, моряк, чтобы утонуть в море...

— Так получилось, — вздохнул вертолетчик, — в разведке на побережье был. Начался шторм... Подробностей не знаю. Велено вас доставить. Там расскажут!

Леша проходил производственную практику в сейсмическом отряде у геофизика Паршуковой. Разведка велась с катера в устье речки, впадающей в Карское море. Уложиться в срок по каким-то причинам не успели. Кончились продукты. Паршукова катер с рабочими отправила на базу за продуктами. Леша, готовясь защищать диплом, работал с документами, переписывал показания приборов.

В Заполярье предвидеть ничего нельзя. Небольшой ветерок, почти постоянно дующий с моря, вдруг превратился в ураган. Начавшийся в море шторм погнал воду на сушу. Речка стремительно вышла из низких болотистых берегов, слилась с соседним озером, Леша с Паршуковой даже не заметили, как оказались на острове. Началось обычное в этих краях наводнение.

— Я растерялась, — призналась Паршукова, — получилось так, что командовать стал Шишкин...

Ветер валил с ног. Унесло отцепленный от катера бок с аппаратурой. Лежа на земле, Леша надул свою одноместную резиновую лодку, которую когда-то купил в Ленинграде. Придерживая лодку ногой, затолкнул в планшет завернутые в полиэтиленовую пленку материалы экспедиции, сунул туда же оставшиеся две плитки шоколада, четвертинку спирта. Ураган к тому времени достиг такой силы, что они почти не слышали голосов друг друга. Островок совсем затопило. Леша надел на плечо Паршуковой планшет, заставил сесть в лодку.

— Я не хотела, — рассказывала Паршукова, — предлагала Шишкину спастись вместе, держась за веревки лодки. Но он орал мне в ухо разные оскорбительные слова, говорил, что из-за моего упрямства мы оба погибнем. «В ледяной воде, — сказал он, — вас не хватит и на пятнадцать минут, а я выдержу! Не ломайтесь, — говорит, — как сдобный пряник, не ко времени...»

Паршукову нашли в Карском море только на третий день, куда ее вынесло с отливом после урагана. Она была без сознания. Ее НЗ — две плитки шоколада и спирт были не тронуты. Не тронутой оказалась и ракетница, сунутая Лешей на дно лодки. «Не расходуйте зря ракеты, — наказывал он, — стрелять будете, когда кончится ураган, когда будет надежда, что вас ищут».

Это были его последние слова. Некоторое время он, действительно, плыл, держась за веревки лодки. Но сколько времени может выдержать человек в ледяной воде Заполярья?

ЛИДА

Лиди работала сестрой в поликлинике. У нее были хорошие отношения с главным врачом, женщиной примерно одних с нею лет. Они дружили.

— Коллектив Елена Петровна в строгости держит. Очень требовательная. Администратору без этого нельзя. Какая дисциплина, если главного не будут бояться, — рассудительно говорила Лида.

Каждый день она что-нибудь восторженно рассказывала о своей подруге. По ее словам, Елена Петровна и умница, и собой хороша. И мне, конечно, хотелось познакомиться с ней. Я была рада за Лиду. Теперь мне стали понятны те перемены, что произошли в ее характере, внешности: у Лиды был друг, настоящий друг, которого она искренне любила, боготворила, ради которого была способна на самопожертвование и, конечно, ради которого ей хотелось выглядеть лучше даже внешне. Для нее, одинокой пожилой женщины, — это большое счастье.

Как-то поутру, войдя в мою комнату, сестра взяла со стола Лешину фотографию, долго разглядывала ее.

— И что же ты нашла в нем? — спросила Лида. — Прости! Сейчас понятно, муж есть муж. А вот впервые...

— Злилась, что не ухаживает как положено. Не говорит нежных слов. А случилась беда... Да ведь я тебе писала, как Леша ходил в третью бригаду вызывать врача для роженицы. Он ушел, а я — в рев. Даже молилась, чтобы благополучно дошел. И поняла — люблю. За что? Такой вопрос мне однажды уже задавали. Не знала, как ответить. А теперь знаю! Любила Лешу и люблю за то, что не умел и не хотел притворяться, что честность и мужество считал своей обязанностью...

— Соня! Соня! Ну что же ты, успокойся! — Лида стала совать мне стакан с водой. — Теперь-то уж чего любить, — вздохнула сестра. — О себе надо подумать. С таких лет вдова. Уж лучше бы вы никогда не встретились!

— Что ты, Лида! Уж кому-кому, а мне встреча с Лешей была необходима...

— Но почему же, дурочка ты маленькая. Ведь это теперь, когда его нет, он кажется идеальным.

— Не идеальный он... Только, если бы не Леша, прожила бы всю жизнь колодушкой! Меня как воспитывали? Слово поперек не скажи, то не тронь, другое не шевели...

— Непонятная ты стала, Соня, будто чужая, — задумчиво проговорила Лида. С этими словами и ушла она на работу.

Вечером старушка в белом переднике, двуперстно перекрестившись еще во дворе, принесла от Лиды записку: «Соня, у Елены Петровны приболел сынок, а у нее дежурство в терапии. Она там подрабатывает по совместительству. Не жди меня, я буду почевать у Елены Петровны».

На другой день, к приходу сестры, я приготовила обед, испекла торт.

— Какой сегодня праздник? — удивилась Лида.

— Никакой. Со скуки стряпней занялась.

— Прекрасно, Сонечка! Я не прочь, если ты так будешь скучать хотя бы по воскресеньям, — засмеялась Лида. — А я вот работенку принесла, — выкладывая на стол свертки, сказала она. — Елена Петровна брата в гости ждет. Много лет не виделись. Надо сделать свежее домашнее платье да халатик. И Вите легонький костюмчик не мешает! Все теплое у него. Врач, а дитя кутает. Вот и простывает часто. Выкройки бы детские раздобыть где?

— Мы с моей соседкой Светланой сами выкройки для ее мальчика делаем. Сними мерку...

— Вот хорошо, — обрадовалась Лида, — Вите бы шортики и жилетик. Не жарко, и грудка прикрыта. Слабенький он все же. Поздно Елена Петровна рожать надумала. Наследник, конечно, нужен. У меня ты есть! Ужасно, как ты на мамуходишь. В молодости мама, наверное, такой и была, — Лида чмокнула меня в переносицу, погладила по голове. Выросшая чуть выше ее плеча, я, должно быть, всегда буду казаться ей ребенком.

За вечер мы сметали платье для Еле-

ны Петровны, костюмчик для Вити. Лида все бережно завернула, понесла на примерку.

— С твоей легкой руки, Соня, все впо-ру! — радостно сказала она, возвратив-шись. — Елене Петровне понравилось. А я, бывало, одна, как ни стараюсь, все что-нибудь не так!

— Ты и раньше на нее шила?

— Да мелочь. Хорошие вещи она в ателье отдает. Какая я модистка! А на штапельное да ситчик и тратиться жал-ко. Работа дороже материала обходится.

— Конечно, — согласилась я, — вы же подруги, отчего не помочь!

Халатом, однако, мы Елене Петровне не угодили. Оказывается, фасон Лида по-нял не совсем так, как объясняла Еле-на Петровна. Лида пришла расстроенная, и мне показалось, что она плакала.

— А как сидит халатик? — спросила я.

— Сидит хорошо. Фасон не тот!

— Ну, не велика беда, — попыталась я успокоить Лиду, — в театр она, что ли, в халате пойдет.

В последующие дни Лида почти не бы-вала дома. Елене Петровне дали новую квартиру. Работы по хозяйству невпро-ворот. Женщина она одинокая. Работает на руководящей должности. Трудно ей. Как не помочь! Вся работа по дому и огороду легла на мои руки, но я радо-валась за Лиду.

Наконец у Елены Петровны все было улажено, готово к приезду брата.

— Слава богу, — сказала Лида и при-нялась шить платье для себя. Должно быть, и ей перед лицом гостя не хоте-лось ударить лицом в грязь.

— Лида, — спросила я однажды, — чуть не каждый день слышу от тебя: Еле-на Петровна да Елена Петровна! А поче-му она к нам никогда не зайдет? Мне бы очень хотелось познакомиться с ней.

— Она заходила ко мне раньше, — вздохнула Лида. — А сейчас... Сейчас она тебя стесняется.

— Почему? — удивилась я.

— Ну, знаешь, Сонечка, ты у нас в

поликлинике бываешь, можешь нечаян-но проговориться... А ведь мы по секре-ту дружим. У нас в поликлинике никто про это не знает.

— Вот как! — еще более удивилась я. — Дружба по секрету! Никогда такого не слышала. Она стесняется, что ли, дру-жить с тобой?

— Не то, чтобы стесняется, — замя-лась Лида, — но я работаю в ее подчи-нении. Мало ли что люди могут сказать.

— Поблажки она тебе по работе дела-ет или платит больше, чем следует?

— Ну, что ты такое говоришь! — воз-мутилась Лида. — Да Елена Петровна через закон шагу не переступит. Поло-жено по закону — пожалуйста! Нету за-кона — хоть помри, она настоящий ад-министратор! «Поблажки по работе», — как у тебя язык повернулся! Уж что-что, а работать нас отец выучил. У меня ми-нуточки зазря никуда не уходит! Стати-стику по поликлинике на меня навалили. Из-за этого постоянно на работе задер-живаюсь. Мне по закону полторы став-ки положено, медсестры и медстатисти-ка...

— Почему же тебе не платят, если у вас все по закону?

— Что ты ко мне привязалась! А лю-ди что скажут... Да и не нужны мне их-ние деньги!

— Не знаю, что люди скажут, а я ска-жу: эксплуатирует тебя Елена Петровна и дома, и на работе! Никакая она тебе не подруга. Предложила бы мне такую дружбу, из-под полы... Дура ты, Лида!

— Ты кого дурой называешь? — стро-го, как, бывало, отец, спросила Лида.

— Тебя! Сестричку роденькую, кото-рая старше меня чуть ли не вдвое, а ума...

Лида заплакала. Но мне было ее не жаль. Охватила какая-то непонятная злоба и на Лиду, и на Елену Петровну. После этого мы с сестрой почти переста-ли разговаривать. Перебрасывались ино-гда незначительными фразами по дому, хозяйству. Но той теплоты, близости, ко-

торая была между нами поначалу, уже не стало.

ЗОЙКА

Отпуск мой еще не кончился, но отчужденность с Лидой тяготила, и я собралась уезжать. Пошла напоследок посидеть в сквер. Кусты и деревья, высаженные года четыре назад, хорошо разрослись. Я любила бывать здесь. Вспоминались времена, когда на этом месте стояли бараки школы механизации. Грязные, чумазые ребята-механизаторы в обеденный перерыв сидели, как грачи, на заборе и изводили меня своими насмешками. На нашей окраинной улице весной и осенью грязь стояла страшная. Застряну, бывало, у школы механизации — ни туда, ни сюда...

Сгустились сумерки. Вдруг из соседней аллеи, где висели портреты, донесся какой-то скрежет, будто по сковороде ножом скребли. Заинтересованная непонятными звуками, я поднялась. Смотрю, голенастая девчонка в пестром платишке пытается вынуть из металлической рамки чей-то портрет.

— Ты что хулиганишь? — окликнула ее.

Девочка оглянулась и без тейи смущения ответила:

— Я не хулиганю! Я убираю ее с доски Почета.

— Вот как! — удивилась я. — А твое это дело?

— А если неправильно повесили. Вы же не знаете! И другой не знает. Думают, хорошая, если на доске Почета...

Я подошла, взяла девочку за руку, усадила рядом на скамейку.

— Тебя как звать?

— Зойка! Зоя Столярова, — поправилась она.

— Давай, Зоя, поговорим. Тебя обидели?

— Да ну, обидели! Пусть лучше ребята картошки привезут...

История Зойки оказалась не так уж

проста. Закончила в прошлом году восемь классов. Мать на инвалидности. Пенсии не хватает. Зойке надо работать. И хотя рабочие руки требуются всюду, найти работу долго не удавалось. Узнав, что Зойке только четырнадцать, с ней не находили нужным разговаривать, советовали подрасти. Однажды она встретила Нину Федоровну, завуча школы-интерната. Услышав о Зойкиных мытарствах, завуч привела ее в школу, усадила у дверей директорского кабинета, велела ждать. «Пиши, Зоя, заявление, — сказала Нина Федоровна, выходя от директора, — будешь у нас рассыльной».

Я обратила внимание — Зойка интересно рассказывает. Выражение лица у нее постоянно меняется, она как бы копирует окружающих: я уже знала, что Нина Федоровна слегка картавит, а у бухгалтерши Музы Ивановны голосок воркующий, нежный. И женщина она, должно быть, веселая, покладистая.

Зойке нравится работать в школе. И относится к ней хорошо, с уважением: кастелянша увольнялась, доверили писать акт сдачи-приема. Правда, Муза Ивановна, бухгалтер, акт исправила, велела переписать, а то, сказала она, кастелянше придется недостачу платить. Пожалеть надо человека. И на школу пятно — недостача! Новая кастелянша не хотела принимать переписанный Зойкой акт, но Муза Ивановна ее убедила: «Ничего, принимай, — сказала она, — мы с тебя потом сплшем, никто не пострадает». Все было хорошо! А сегодня Зойка даже домой боится идти, мама так радовалась, что Зойка нашла работу...

— Понимаете, — вздохнула Зойка, — учебный год закончился, сразу организовали лагерь труда и отдыха. Наша школа на берегу озера, лес рядом. Зачем нам куда-то ехать? Работают ребята в лесничестве. Знаете, сколько там работы! Да еще цветочную рассадку выращивают, а картошки нет...

— Картошки везде навалом, и стоит она копейки! — засмеялась я.

— В том-то и дело — навалом, а мы картошки купить не можем. У нас на остатке много. Муза Ивановна говорит: «Нельзя большую недостачу показывать, с нас голову снимут. И на школу пятно — недостача! Списывайте, — говорит, — по меню, другого выхода нет». Вот и варят с крупой, а картошку только выписывают. Тетя Тася, повар, даже плакала, что ребята суп не едят...

Зойка пошла к завучу о картошке поговорить. А Нина Федоровна, завуч, в столовой уговаривает ребят суп с пшеном есть. Когда Нина Федоровна зачем-то вышла, Зойка шепнула ребятам: «Не ешьте суп, а то еще неделю будете без картошки сидеть!» Нина Федоровна пришла, а в столовой пусто...

— С этого все и началось! — всхлинула девочка.

— Тебя уволили с работы?

— Нет еще, завтра уволят! Пусть я плохая, меня на доску Почета не повесили, а Муза Ивановна на доске Почета... Неправильно ее повесили.

— Неправильно, — согласилась я. — Но ведь все надо проверить, нельзя так, с бухты-барахты.

— Чего проверять! Пусть ребятам привезут картошки, и пусть Муза Ивановна книжки вернет!

— Какие еще книжки, — удивилась я.

— Школьные! Получили новые книжки, а библиотекаря выбрала самые лучшие и понесла Музе Ивановне в подарок. А что ребята будут читать?

— Все хорошо будет, не волнуйся, — погладила я девочку по руке.

Когда поведала Лиде Зойкину историю, сказала, что собираюсь помочь ей разобраться со всем этим, Лида замахала на меня руками:

— С ума сошла! Тебе-то какое дело, зачем лезешь? А девочке надо внушить, что совать нос в дела старших неприлично...

— Вот как! А в душу ребенку наплевать прилично? Подотчетников разлагать — прилично? Может, по-твоему, и

карман набивать за счет государства прилично? Да Леша, — вырвалось у меня, — терпеть не мог этих прихлебателей. И чинодралов, кстати, которым зазорно дружить с человеком рангом ниже...

— Какой у тебя невозможный характер, — Лида поморщилась и, прикрыв уши ладонями, вышла.

Посмотрев ей вслед, я достала сигарету. До сих пор, чтобы не сердить Лиду, курила тайком. Никак у нас с Лидой ладу не получается. Вдохнув, села писать Светлане, чтобы проветрила мою комнату, открыла ставни. При мысли, что Светлану обрадует мое письмо, внутренне успокоилась, даже повеселела. Познакомилась мы с ней несколько необычно года три назад... Ловлю себя на мысли, что снова возвращаюсь в прошлое. Однако ничего не поделаешь. Все у меня начиналось там, где был Леша...

СВЕТЛАНА

В то лето Леша зачем-то приехал из нефтеразведки в окружном комсомоле. Позвонил мне. Впереди было два нерабочих дня, и мы договорились встретиться. Погода стояла прекрасная. Самолеты из района летали по расписанию. И я понеслась в город.

Однако обратный билет на рейсовый самолет достать не удалось. Домой пришлось возвращаться с приписанным к районному аэропорту маленьким почтовиком.

Летчики, молодые веселые парни, пригласили мне кулек с виноградом. И не было возможности отказаться, так настойчивы ребята. Леша наблюдал за всем с нескрываемым удовольствием, шутил, подзадоривая ребят. И второй пилот, совсем мальчишка, стажер, должно быть, считая Лешу посторонним, сказал:

— Прошу девушку не смущать. И вообще, парень, двигай! Нечего на аэродроме крутиться, да еще возле почтового самолета,

— Ну-ну, желаю успеха! — Леша подмигнул мне, как обычно, когда бывал в хорошем настроении, махнул рукой, направляясь к аэровокзалу.

За какой-то надобностью приземлились мы в долине небольшой речушки, возле буровой, которая не была даже полностью смонтирована. Попрыгав, как мячик, на пестрой от цветов поляне, самолетик остановился возле громоздких, обвязанных проволокой ящиков. «Отчаянные ребята, — подумала я, — садятся куда попало!» Встретить нас никто не вышел. И летчик постарше побежал к одному из вагончиков.

Погода — как по заказу — тихая. Я вышла прогуляться. Воздух напоен дурманяще-терпким ароматом багульника. Алый цвет его заполонил землю. Поля багульника перемежаются лиловыми и желтыми полосами — это цветут васильки, ландыши, незабудки. Непомерной голубизной сияют далекие озера. И так ярки, чисты краски, что кажется, в природе подобного и быть не может, что это — картина по-своему увидевшего мир художника.

Все уже сидели в самолете, когда мужчина в литых резиновых сапогах, в светлом демисезонном пальто — бросилось в глаза именно это несоответствие в его одежде — подбежал к самолету:

— Товарищи, слышал, с вами медицинский работник летит...

Я назвалась.

— Помогите, пожалуйста! Здоровая была, не жаловалась... Вошел — на полу лежит, без сознания!

Летчики согласились подождать.

— Я инженер по монтажу, — торопливо рассказывал он по дороге. — Мы тут пока одни, бригада еще на базе. Раньше в Татарии жили. Две недели как приехали. Может, ей не климат здесь.

В вагончике полутемно. Окно занавешено одеялом. Когда день растягивается на месяцы, хочется темноты.

— Что с вами? — спросила я, нацупы-

вая пульс лежавшей на раскладушке женщины.

— Ничего! — равнодушно ответила она.

Я с недоумением оглянулась на инженера.

— Вошел, она — на полу, без сознания... Светка, ты притворилась, что ли?! — воскликнул рассерженно инженер.

— Раздевайтесь, я посмотрю вас.

— Посмотрите! — пренебрежительно, точно делая мне одолжение, сказала женщина.

— Ваша жена беременна, ничего опасного в ее обмороке нет.

— Как беременна?! — изумился инженер.

— Очень просто, месяцев через пять наследника ждите.

— Ах ты, дрянь! — Инженер рывком поставил женщину перед собой и, неожиданно для меня, влил ей пощечину.

— С ума сошли! — крикнула я, отталкивая инженера.

Он покорно отошел.

— До чего докатилась негодная девчонка! — презрительно сказал он, поднимая воротник своего модного пальто, точно ему вдруг стало холодно.

Я разглядела: женщина и впрямь девчонка. Круглолицая смазливая девчонка.

— Проповеди читать умеешь, а сам в пятнадцать лет отцом стал, про то у кого спрашивал?! — зло выкрикнула девчонка и, всхлипнув, прижала к щеке ладошку.

— Я твоим отцом стал на двадцать первом году, когда тебе уже четыре года было, и, кстати, не интересовался, где и кто твой отец. Я просто любил твою мать и все! Да разве тебе это понять, дрянь! — Инженер выскочил из балка, настень распахнув дверь, в которую сразу же устремились клубок мошкеры, закружилась в просвете.

Девчонка, постояв с минуту в оцепенении, с ревом завалилась на раскладушку. Не зная, что делать, как себя вести дальше, я вышла. По привычке плот-

по прикрыла за собою дверь. Инженер сидел на приступочке у балка. Курил. Ему и в самом деле немногим более тридцати. Высокий, угловатый, некрасивый, с крупными веснушками на худом длинном лице.

— Вот так, — сказал он, увидев меня, — отцом-то я оказался никудышным. Проглядел дочь. Ведь ей и семнадцати нет. — Нынче в десятый перешла... Хотел ее тут в школу-интернат пристроить.

— А куда мать смотрела?

— Мать в аварию попала, села в машину с пьяным водителем... Мне советовали Светку в детский дом отдать. И надо было! А я подумал: сам воспитаю, отцом себя считал. У меня и в мыслях не было признаться ей. А вот вырвалось! Ах, дрянная девчонка... — Инженер со злостью выбросил окурочок. — С восьмого класса все началось, — продолжал он. — Двойки приносит, учителям грубит. Ну, думаю, кто в этом возрасте не грубит... Нотации, конечно, читал! В девятом вовсе распоясалась, прихожу однажды с работы — в комнате накурено, от Светки вином припахивает. Раз такое дело, решил: увезу от друзей-товарищей куда подальше. Вот и увез! Что делать-то?! Может, аборт...

— Аборт делать поздно. Поговорить с ней надо, ведь отец у ребенка где-то есть.

— Отец! Сопляк такой же, как она. Шалопай без царя в голове.

— Зачем так! Вы в двадцать лет стали отцом чужого ребенка, почему же другим отказываете в праве признать своего.

— Поговорите с ней, прошу вас. Ну, как женщина с женщиной. Мне от нее ничего не добиться, тем более теперь. На семь замков замкнется. Упрямая! Ничего от матери у нее нет. У той характер был мягкий, открытый. В кого Светка уродилась?

— В отца, должно быть, — улыбнулась я и пошла в вагончик.

Светлану вызвать на откровенность не

удалось. Да и мне, человеку, которого она видит впервые, смешно было надеяться на это. Вдохнув, я собралась уходить. Парни-летчики, пожалуй, заждались. И, распахнув дверь вагончика, словно споткнулась: как в воду поутру Леша глядел! Любуясь моим новеньким удостоверением депутата поселкового Совета, сказал: «Да, с такими корочками мимо людского горя на одной ножке не проскачешь, а то какой ты, к лешему, депутат, слуга народа! Экзамен, Сонька, тебе предстоит нелегкий, справишься ли...»

Я почти с ненавистью оглянулась на лежавшую ничком Светлану, мысленно увидела ожидающего меня за дверью ее молодого растерянного отца: «Не просто им сейчас — ему и ей — ох, не просто...»

— Послушай, — сказала я. — Ты же не маленькая. Скоро матерью станешь. Тебе о будущем ребенка надо подумать...

Вспомнив, что Вэнго набирает в поселке девушек для обучения малярным работам, прикинула — к декретному отпуску Светлана успеет окончить курсы. И предложила ей поехать со мной попытать счастье жить самостоятельно. Она сразу же согласилась.

— Надо бы спросить отца, — сказала я.

— Чего спрашивать, если он и не отец вовсе! — огрызнулась Светлана, размазывая по лицу слезы. И вот теперь мы — подруги, а Володьке, сыну Светланы, уже третий год...

ЗАОЧНАЯ ВСТРЕЧА

Занятая сборами в дорогу, делами Зойки, я не заметила, что за последнее время очень изменилась Лида: похудела, осунулась, никуда, кроме работы, не выходила. Когда сказала, что собираюсь уезжать, Лида оживилась, глянула на меня с улыбкой.

— Ты рада моему отъезду? — удивилась я.

— За тебя, девочка, рада, — грустно

сказала Лида. — Человеку хорошо там, где его ценят, вот ты депутат... Прости, забыла сразу отдать, — Лида вынула из кармана передника письмо.

В конверте, надписанном рукой Светланы, — забавная открытка: малыш в голубых трусиках держит на пухлой ручонке земной шар. «Приглашаем вас, жену и друга А. Шишкина, принять участие в торжествах по случаю юбилея детского дома», — прочитала я на обратной стороне открытки.

— Видишь, какое дело... Надо съездить! — сказала Лида.

В этом же конверте наскоро написанная на телеграфном бланке записка: «У нас новость, — сообщала Светлана, — Собачье Ухо женился. Владимир — большой и малый — оба ждут не дождутся вас. Приезжайте скорее!»

«Вот как, значит, Владимир Иванович, отец Светланы, у нас...»

— Кто это, Собачье Ухо? — спросила Лида.

— Вэнго, председатель поселкового Совета. Собачье Ухо — так звучит его фамилия в переводе на русский.

— Ты симпатизируешь ему, у тебя с ним что-нибудь было? Почему ты покраснела? — стала допытываться Лида.

— Успокойся, — засмеялась я, — ничего у меня с ним не было. — Вэнго — прекрасный человек, долгое время был болен. И я рада, что теперь у него семья. Покраснела... Да просто приятно, когда тебя кто-нибудь ждет. А вот ты, Лида, чересчур бледна, очень неважно выглядишь! Что с тобой? — с беспокойством спросила я.

— Да здорова я, Сонечка, здорова! — Лида порывисто обняла меня. — Ведь я любила ее, мальчика ее любила...

Я поняла, речь идет о Елене Петровне. Улыбнулась, успокаивая Лиду:

— Тебе виднее, Лидочка; возможно, я ошиблась...

— Нет, это я ошиблась! Правильно смеются над старыми девами.

— Да расскажи же наконец, в чем дело?! — рассердилась я.

— Приехал Валерий Петрович...

— Какой Валерий Петрович?

— Брат Елены Петровны, ветеринарный врач, на Севере работал.

Я расхохоталась: Елена Петровна... Как же я сразу не догадалась? Валерий Петрович ушн прожужжал, как важно мне, среднему медработнику, состоять в родстве с врачом, занимающим высокую должность. «Леночка все для вас сделает, все,» — убеждал он когда-то меня.

— Я сказала что-нибудь смешное? — обиделась Лида.

— Извини, над собой смеюсь. Продолжай, пожалуйста!

Лида недоверчиво передернула плечами, но желание поделиться, поговорить пересилило обиду.

— Ты оказалась права, — сухо начала Лида. — Елена Петровна дала понять, что мое присутствие в ее доме пока нежелательно. Отметить приезд брата она пригласила врачей, и ей кажется, среди них я буду чувствовать себя белой вороной, стесняться. Теперь, Сонечка, можно и посмеяться, — грустно закончила Лида.

— Знаешь, Лидок, а Леша Валерия Петровича мумией прозвал. Не удивляйся, не удивляйся! Мы были знакомы, даже переписывались. Когда погиб Леша, я не ответила на письмо. Сама понимаешь, не до того было. И переписка прервалась.

— А какой он, Валерий Петрович? — с любопытством спросила Лида.

— Не знаю... — Взглянув на стул с высокой резной спинкой, который испокон века считался в семье отцовским, сказала: — Отцу нашему он бы понравился!

— Валерий Петрович верующий? — удивилась Лида.

— Ну что ты, кто теперь в бога верует! Просто, он — полная противоположность Леше: бережлив, на рожон не полезет...

— Сонечка, может, мне смириться перед Еленой Петровной? Я стала избегать

ее. И она, конечно, поняла, что я обиделась. Для твоего счастья, Сонечка, для твоего будущего...

— Нет, Лида, не надо унижаться ни ради меня, ни ради себя... Представь, а ведь я сейчас только и поняла, как прав был Леша! Да, модно одеваются. Да, иногда занимают руководящие должности. А какой прок от их руководства, если они и порядочны-то только оттого, что трусливы...

Влетела Зойка, всполошенная, заревавшая: плохо с матерью!

Оказывается, у Лиды и дома все наготове для оказания первой помощи. Мы побежали. Зойкина мать посмотрела на нас взглядом, полным отчаяния, попыталась что-то сказать.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, — проговорила Лида. — Сделаем сейчас укольчик, и все пройдет.

Работала Лида быстро, ловко, без суеты.

— Вот и все! — Лида убрала шприц, села рядом с больной, взялась за запястье. — Легче стало, правда? Приступы повторяться будут — это симптом вашего заболевания, но вы их не бойтесь. От приступа не умрете. Наоборот, хорошо будете лечиться, сила приступов со временем уменьшится. С вашим заболеванием люди долго живут, по пословице — как скрипучее дерево... — Лида ободряюще улыбнулась.

Губы больной порозовели, дыхание стало ровным, она заметно успокоилась.

— А теперь спите. Спите! — приказала Лида.

— Спасибо, — прошептала больная и закрыла глаза.

— Я принесу завтра лекарство для мамы, — сказала Лида, провожавшей нас Зойке. — Уколы буду приходить делать сама. С участковой сестрой договорюсь. В случае чего, беги сразу к нам.

— А ты молодец, — сказала я, когда мы вышли. — С больной хорошо поговорила. По-моему, твои слова ей больше лекарства помогли.

— Всю жизнь возле больных, пора руку-то набить! — Лида усмехнулась, довольная моей похвалой. — С молодыми врачами приходилось работать. Теперь, конечно, интернатуру ввели, толковые врачи приходят. А то, бывало, как серьезный больной, — засуетятся, впору бежать в учебник заглядывать, а больной-то не ждет! Поневоле начнешь подсказывать: подать вам то, подать это? — смотришь, дело пошло, начинает работать. Опыт нужен! Врач-то такого больного впервые встретил, а через мои руки десятки прошли. Вот и Елена Петровна сначала такая же несмелая была. Она ведь поздно институт закончила, экономистом в облздраве работала. А Зойку жалко, осиротеет, бедная...

Мы пришли с Лидой домой, сели чаевничать, как бывало раньше, когда я только приехала. Очень я сейчас любила Лиду.

— Тебе надо хорошо отдохнуть перед дорогой, — сказала Лида, — иди ложись. А почему ты в отпуск через два года ходишь?

— Да получается так. Прошлой лето я все Лешу ждала, не верилось, что погиб. Думала, у охотников где застрял, вот-вот нагрянет... Теперь, Лидочка, каждое лето приезжать буду!

Я была рада, что Лида взяла на себя заботу о Зойке, что мы помирились. На душе стало хорошо и спокойно. Открыв постель, вдохнула милый моему сердцу аромат мяты. Как и мама, Лида перекладывала белье высушенными стебельками мяты. Люблю сестру, но остаться с ней не могу... Я так и не разобралась в причинах, почему мне хочется на Север. Чувствую — мое место там! Дома, на родине, я даже школьных подруг ни одной не встретила. Правду сказать, особой дружбы ни с кем и не водила, отец не любил посторонних в доме. А там, на Севере, у меня друзья, которые верят мне, надеются на меня, ждут меня...

После случившегося с Лешей несчастья, когда вернулась из нефтеразведки,

к вертолету подбежал Вэнго. Молча взял вещи, и мы пошли. Светланы дома не оказалось. Она уехала на курсы повышения квалификации, а Володьку временно устроили в районный Дом малютки.

— Отдохните с полчаса, а потом дело есть, — сказал Вэнго, затолкнув Лешин чемодан на шкаф. — Пока чай вскипичу...

— Какое дело, какой чай?! — возмущившись черствостью Вэнго, я заплакала.

Вэнго тихо прикрыл за собою дверь, а через полчаса в комнату ввалился Ямай.

— Видел твой вертолет, скоро ехал, да не догнал, — сказал он, усаживаясь на корточки у порога. — Лешку, однако, не жалей, смерть легкая...

— Еще чего скажешь! — зло оборвала Ямая, готовая вытолкать его за дверь.

— Человека спасал — легкая смерть, — стоял на своем Ямай. — Голове светло, а холодная вода — пустое! Некогда думать, какая вода... Так-то шибко жалко! Больно хороший человека Лешка. Киномехаником работал — говорил: газом чум топить надо, кустарник-де для тундры все одно как шкура для оленя. Правильно, однако, говорил. Э-э! — сплюнул Ямай. — Плохо Лешку поминаешь, глаза мочишь, а человек был веселый, ладный...

Вэнго внес чайник, тарелку с хлебом, маслом. Скинув ватник и шапку, Ямай сел за стол.

— Поъем чаю, да и собирайся, Соня, — так почему-то он произносит мое имя. — Скоро-скоро ехать надо! Дома сидеть будешь — человек помрет. Чего Лешка подумает? Моя жена — плохой человек, вот чего он подумает!

И только в стойбище, в бригаде, я поняла: Вэнго нарочно вызвал Ямая, чтобы увести меня из пустой комнаты. От тоски и одиночества на люди увести...

В аэропорт едем в легких платьях. Лида и Зойка в босоножках. На вокзале, как всегда летом, много народа, но северян можно отличить сразу — наготове теплая обувь, пальто. Худенькая, пока

еще нескладная, Зойка разглядывает все со свойственным ей любопытством. Она здесь впервые. Ее милая, со вздернутым носиком мордашка разурмянилась.

— Софья Васильевна, — забюко повела плечиками Зойка, — а вам обязательно туда ехать, на Север?

— Что делать, у меня там работа...

Лида молчит, боится расплакаться, испортить всем настроение. Чтобы разве-селить сестру, рассказываю забавные истории из северной жизни. Зойка изумленно всплескивает руками, хохочет. Чуть-чуть улыбается Лида.

Объявили посадку на мой самолет. Прощаюсь с Лидой и Зойкой. Выходя на взлетную площадку, еще раз оглядываюсь: они стоят рядом, взявшись за руки...

ПИСЬМА

Из-за двери доносится Володькин лепет, чьи-то чужие голоса. Но слышу все урывками, сквозь сон... Пустынный берег Карского моря. Стою на громадном валуне. У подножия его, обдавая меня брызгами, несется в океан по галечнику река. Валун покрыт коркой льда, и стоять на нем опасно: того и гляди нырнешь в воду. Леша — на берегу, смеется. «Не ночевать ли собралась на камушке?» Прошу снять меня, холодно и страшно на валуне. «Нет уж, — говорит Леша, — сама выбирайся, без нянек. Смотри, какие цветы принес тебе! Полярные маки!» Но где он нашел такие крупные солнечно-золотистые бутоны? У мамы на грядках, случилось, цвели такие... Просыпаюсь счастливая оттого, что слышала его голос, смех. Но еще долго лежу с закрытыми глазами, вдруг снова увижусь с Лешей!

Приоткрыв дверь, в комнату заглянула Светлана.

— Проснулись, что ли? Вам письмо от Валерия Петровича. Откуда — сроду не догадаетесь! Наверное, на одном самолете прилетели — и вы, и письмо. Не знал, что вы в отпуске? — Светлана бро-

сила конверт ко мне в постель. И, не скрывая своего любопытства, уселась в кресло.

«Уважаемая Софья Васильевна, дорогая Сонечка! — писал Валерий Петрович. — Не получив ответа на свое письмо, я поначалу обиделся. Потом понял: чтобы забыться, обрести равновесие, вам, конечно же, нужно время. Все так! А каково мне выжидать этот год траура? Но выждал! Ради вашего покоя, ради того, чтобы не потерять излишней навязчивостью ваше расположение, — выждал! Теперь, думаю, пора и решения принимать.»

Одним словом, уважаемая Софья Васильевна, осмеливаюсь, как говорили в старину, предложить вам руку и сердце. Леша погиб, и ничего худого говорить о нем не собираюсь, но оглянитесь назад — были ли вы с ним счастливы? Я, как вы знаете, человек сугубо земной. В облаках не летаю. И не вижу смысла заглядывать туда, где нас не будет. Излишние эмоции ведут к стрессам. Стрессы — к инфарктам. Так не лучше ли жить без выкрутас. Соглашайтесь, Сонечка! Я не злодей, даже не карьерист, давно и преданно люблю вас. Да, был женат. Винось, не сказал об этом раньше. Но брак с женой, с которой фактически давно в разводе, наконец расторгнут. Вчера получил документы. Так что расписаться можем в любое время. С нетерпением жду вашего письма, а еще лучше, если приедете сами. С Севером я рассчитался окончательно. Сообщить не успел — в профкоме горела путевка, — отправил вещи багажом к сестре и рванул в Сочи. Перед тем виделся на исполкоме с Вэнго. Он уверял, что покидать их райский уголок не собираетесь. Верно ли сие — напишите. В крайнем случае согласен вернуться в эти тундровые дебри еще на какой-то срок, лишняя копейка не помешает. Но все зависит от вас...»

— Что пишет? — нетерпеливо спросила Светлана.

— А тебя это очень интересует?

— Да так... Тю, чего это я сижу, теперь Володька все кверху дном перевернул! — Светлана умчалась.

Я вложила письмо в конверт. На душе мутно, стыдно: Валерий Петрович почти уверен в моем согласии, значит, у него есть на то основания... Но Леша знал о нашей переписке. Однажды сказал: «Нашла забаву...» Меня страшно обижало равнодушие Леши — хоть бы для вида поревновал! Позже, когда Леши не стало, нашла в его чемодане томик «Письма Чернышевского к жене», роман «Что делать?»...

В коридоре хлопнула входная дверь. Кто-то спросил председателя. В нашем гостиничного типа доме — так почему-то называют его Вэнго — всего три комнаты и светлый просторный коридор; в комнаты — мою и Светланы — двери справа, на кухню и в комнату Вэнго — слева. Поселок — центральная усадьба совхоза, но Карское море от него все-таки далеко, семьсот, а может, и тысяча километров.

Коридор — самое теплое, веселое место в нашем доме. Зимой по вечерам, когда топят печи и окрашенный желтой эмалью пол, отражая пламя печей, становится малиновым, хорошо сидеть у раскрытой дверцы печи, смотреть в огонь. Но печей пока не топят. За дверью, в коридоре, скандалит Володька, просится ко мне. Собираюсь подняться, впустить его. Но ребенок вдруг затихает. Голоса Светланы не слышно, должно быть, шепотом убеждает сына не шуметь. Несмотря на внешнюю суматошность, безалаберность, Светлана оказалась толковой, заботливой матерью.

Занявшись уборкой комнаты, вполголоса напеваю:

Цыганка гадала,
Цыганка гадала,
Цыганка гадала,
За ручку брала:
«Не быть тебе, дева,
Не быть тебе, дева,
Не быть тебе, дева,
Замужней женой...»

С некоторых пор мне полюбилась эта наивная песенка о роке, успокаивала ее бесхитростная мелодия, созвучные моему настроению слова.

Стукнув для приличия в дверь, в комнату влетела Светлана.

— Чёго завелись, будто нормальных песен нету!

— Интересно, а чего ради ты дома? — спросила я.

— Суббота же! Да и в район хотела съездить. Очередь в ателье подошла. Не сдам заказ — пропадет очередь. Хотела просить вас с Володькой остаться.

— Конечно, оставляй ребенка. Только мне в детский дом надо, поспешай!

— Да я за двое суток обернусь! — обрадовалась Светлана. — Песенник вам куплю с нотами. А то завели какую-то древность. Терпеть не могу ныть!

Втолкнув Володьку ко мне, Светлана убежала на совхозный катер. Заглянул Вэнго — он женился на воспитательнице, которой по милости Валерия Петровича не досталось норковой шубки, — поговорили о том о сем. Сесть отказался. Потоптавшись у двери, собрался уходить.

— Зачем заходили-то? — засмеялась я, почувствовав, что Вэнго не сказал главного.

— Так! Ребенок у вас, да и отпуск еще не отгуляли...

— Да в чем дело-то? — уже нетерпеливо спросила я.

— К нефтяникам надо съездить, ознакомиться с постановлением райсовета. С постановлением они, может, и знакомы. Надо потребовать, чтобы выполняли. Сам сейчас отлучиться не могу. А из депутатов на месте никого нет, на песках народ...

Если по субботам не работают. Володьку пришлось брать с собой.

На собрании особенно шумели водители с буровой мастера Егоркина. Тундра возле этой буровой на десятки километров избита, измолочена гусеницами тя-

гачей, автомашинами. Каждый водитель выбирает дорогу, где вздумается. Решение райисполкома — «ездить только по шоссе или грунтовым дорогам» — водителей не устраивает.

— У нас план! По прямой — до тридцати километров выгадываем. Дались вам дороги, тундры жалко...

— А если бы вместо тундры хлебная нива, тогда как?! Тоже — по прямой?! — рассердилась я.

— Так то хлеб!

— Да поймите вы, ягель — это хлеб тундры. Хлеб, если случится такое диво — вытопчут, погибнет только один урожай. На другой год поле вновь можно засеять, а ягель растет десять-пятнадцать лет... Да вырастет ли? На тех местах, где гусеницы срывают мох, начинается оттаивать грунт, образуется болото. В конце концов все равно придется ездить по дорогам, а совхоз вблизи вашего участка уже лишился пастбища. Гибнут грызуны, уходит пушной зверь. Мы запрещаем вам съезжать с дороги, пользоваться целиной. Нарушители будут подвергнуты штрафу, как за поправу.

— А кто вы такая, чтобы запрещать?! — загалдели только что подошедшие водители.

Тут к столу неожиданно выскочил Володька. Раскинув ручонки, загородив меня, завопил:

— Не кричите на мою бабулю!

Собрание на мгновение затихло и — разразилось хохотом:

— Вот так бабуля!

— Как депутат поссовета, запрещаю губить общественное достояние — тундру! — сказала я и взяла Володьку за руку.

— Ясно, ребята, чего еще! Ну ясно же! — ведущий собрание буровой мастер Егоркин поднялся и объявил собрание закрытым.

Водители стали расходиться. Здоровенный верзила в черном свитере подошел ко мне и, заметно волнуясь, представился:

— Редактор стенной газеты я... — На лице у парня сквозь загар проступили красные пятна. — Материал у нас на эту тему... Ну, по охране природы. Посмотрите газету, может, добавите что. После заметки и решение райисполкома хорошо бы поместить, ведь можно?

— Конечно, очень даже можно, — обрадовалась я, — пойдемте посмотрим газету.

Оглядываюсь на Володьку: губастенький, с утонувшим меж щек носиком, он деловито отмахивается от комаров. Светлана иной раз в шутку называет меня бабуленькой, и Володька, должно быть, убежден, что я всамделишная его бабуля.

Вагончик, куда идем, стоит на холме, за ельником. Комаров, несмотря на приближение осени, еще много, и Володька начал проявлять нетерпение, захныкал.

— Вот он, вагончик, — указал парень, — устал — поднесу!

— Я не маленький, — промямлил Володька.

В вагончике прохладно, чисто, а главное — нет комаров. Стенгазета, написанная от руки полупечатными буквами, почти готова. Я стала прикидывать, войдет ли на оставшийся клочок бумаги решение райисполкома, как среди наколотых на стенку фотографий увидела фото Леша. Улыбаясь, смахнув навзвучившиеся слезы, подошла.

— Дядя Леша! — уверенно сказал Володька, привыкший у меня к Лешиным фотографиям.

— Откуда это у вас? — спросила я.

— Мы в разведке вместе работали! Вы, конечно, не узнали меня. Семенчук я.

— Да, да! — вздохнула я, приглядываясь. — Припоминаю...

Домой вернулись поздно. Володька уснул в машине. Не слышал, как вынесла, уложила в постель. Мне же после встречи с Семенчуком не спится, почти машинально открываю стол, достаю Лешины письма, последние...

«Здравствуй, Сонечка! — перечитываю

уже выученные наизусть строки. — Узнал из твоего письма, что площадь возле поселка начали осваивать. И ты советуешь — переводись! Да, чертовски соскучился по тебе, но, дорогая женушка, добыча и разведка — вещи разные. Неуждо сей поры не усеяла? Вижу, как надулись твои милые губки. Не сердись. Потерпим еще маленько! Поблизости организуется новая геофизическая экспедиция. После защиты диплома буду работать в этой экспедиции. С начальством уже говорил — место тебе обеспечено...

Извини, Соня, письмо сразу не отправил. Дописываю спустя две недели — я чуть было на тот свет не загремел. Но ты не волнуйся. Сейчас все хорошо. Разве ваш брат, эскулапы, дадут спокойно помереть! Ты мою беду знаешь — пониженную свертываемость крови, из-за которой подчистую списали из армии. Стараюсь от всяких режущих держаться подальше, как называл армейский врач, а тут один чокнутый царяпнул меня ножом. Конечно — нечаянно!

Я сидел в балке, занимался — скоро сессия. Тип этот влетел в балок, достал из-под матраца нож, собрался с кем-то выяснять отношения. Сам — пьян, на ногах не стоит. Я догнал его, стал отбирать нож. Смотрю, из-под мышки кровь хлещет. Зажал руку, побежал в медпункт. Про свое заболевание медичкам сказать не успел — скопытился. Однако они дотумкали, в чем дело. Перекачали мне из одной девчонки, медсестры, энное количество крови. У нее кровь оказалась универсальная, можно вливать всем. И это меня спасло. А девчонка, Сонечка, совсем как ты, маленькая, беленькая. Одуванчик! Дунь — улетит. И мне, понимаешь, ее жалко. Вдруг у нее много крови отняли. Вот какие дела!

На днях приходил следователь, выяснять обстоятельства моего ранения. Я подзалил ему — будто ничего не помню. Думаю, парня не надо топить: он только из заключения вышел — сидел по пьяному делу, за аварию — и теперь загремит

по новой, а из него может получиться стоящий человек...»

И еще письмо, написанное карандашом на толстой чертежной бумаге, буквы на сгибах уже стерлись:

«Ура, Сонечка! Наша буровая дала шикарный фонтанчик. Пока, до прихода промысловиков, мы, конечно, ее законсервировали. И теперь наш путь лежит дальше на север, к Карскому морю. Места там безлюдные, а здесь правдашней поселок с клубом и баней, много девчат, и уезжать ребятам не шибко охота. А у меня, Соня, объявился педагогический талант. Ей-богу, правда. Без хвастовства. Типа того, Шурку Семенчука, который меня ножом царапнул, я почти обратал. Правильная у меня оказалась тактика: вышел из больницы — с Шуркой разговариваю, как со всеми.

В субботу ребята нашей смены в клуб подались. Я в балке один. Мне заниматься надо. Семенчук и притонал. «Ты, — говорит, — что из себя христосика строишь?» Не по носу ему, значит, мне обзанным быть, гордость не позволяет — про следователя-то он слышал! Я с ним церемониться не стал: «С чего ты, салага, взял, что простил тебе? В гробу — говорю — тебя видел!» Перекинулись еще парой словечек, которые не пишутся. Конечно, мне бы по-другому надо себя вести. Я опять за комсорга остался. Ну уж так получилось. Главное, в Шурке не ошибся — будет из него человек! На днях передвигжку прислали — шепнул ребятам: Семенчука библиотекарем vybrать, у парня — десятилетка!

Не принимал Шурка библиотеку более недели — брыкался, плевался, матюкался. Ребята обратились за помощью ко мне, я подумал — как бы кашу маслом не испортить, и устранился. А ребята поднажали — стал Семенчук библиотекарем! Уже книги ездил менять. Времени на выпивку и шухер меньше...»

Я опустила письмо Леша на колени. Сразу вспомнила весь тот страшный день, Семенчука, каким увидела его впер-

вые... С центральной базы экспедиции мы полетели на буровую, чтобы собрать Лешины вещи. Оказывается, это для меня было самое трудное. Когда увидела койку, застеленную еще самим Лешей, его выходной костюм, висевший на самодельных плечиках, у меня зашло сердце, потемнело в глазах. Кто-то бережно усадил меня на койку Леша. Все вышли. Люди поняли, мне надо побыть одной...

Провожала меня вся бригада. Направляясь к вертолету, хватилась — забыла в балке сумочку. Мастер, несший за мной чемодан Леша, оглянулся на большого угрюмого парня.

— Сбегай, Семенчук! — сказал он.

Я хотела удержать, но парень уже побежал. «Вот он, Семенчук этот...» — глядела я вслед.

— Спасибо, — машинально поблагодарила, приняв сумочку. — Мне муж писал о вас...

— Что писал? — заволновался Семенчук, покрываясь красными пятнами.

Я молчала.

— Что писал?! — криво усмехаясь, зло, настойчиво переспросил Семенчук.

— Писал, что не ошибся в вас, — устало сказала я, отвернувшись от Семенчука. Чувство отвращения охватило меня к этому парню. Но последнее письмо Леша стало теперь как бы завещанием, и поступить против его воли уже не могла, не поднялась рука...

РОЖКОВ

Было совсем утро, когда прикорнула возле Володьки. Проснулась от стука в окно. Откинула штору — за стеклом смеющаяся рожица Светланы.

— Открывайте, засони!

Светлана забросила в дверь две авоськи с коробками, свертками, а уж потом, неся чемодан, вошла сама.

— С отцом виделась, — объявила она, — набрал Володьке всякого барахла, еле дотащилась. Привет вам передавал, обещал в гости нагрянуть...

Отношения с отцом у Светланы не сразу наладились. Володьке исполнился год, когда в райздраве проводился какой-то инструктаж по прививкам. В перерыве вышли в коридор.

— Здравствуйте! Я вас ожидаю, — окликнул меня отец Светланы, инженер Рожков.

— Как вы отыскиали меня?! — удивилась я.

— Позвонил в поселковый Совет, председатель дал адрес. Я хотел послать с вами денег Светлане. Дважды переводил, она отказывается получать. Деньги опять вернулись.

— Ну и прекрасно! Зачем вы хотите их навязать?

— Поймите меня. Я привык считать Светлану своим ребенком. Мне пришлось с нею нянчиться, водить в детский сад, когда мы еще не были с Таней, матерью ее, мужем и женой. Просто соседи по квартире. Таня была на последнем курсе института, когда я, влюбленный юнец, тоже сдал экзамены в этот институт. Мы поженились. После защиты диплома Таня работала в управлении, часто ездила в командировки. Я продолжал учиться и, естественно, ребенок постоянно находился при мне. Я очень привязан к Светлане. Не нужно было признаваться ей. Но сами посудите, такой подарок! Понимаю, дочь я уже потерял. Пусть! Вы только поговорите с ней, объясните, что по закону я обязан помогать ей до совершеннолетия.

— До совершеннолетия ей остался один месяц, — сказала я. — Зарплата у нее приличная. Собрете вы ее с пути этими деньгами. Дайте ей отдохнуть от вашей заботы! Извините, но вы, должно быть, сами виноваты во всем случившемся со Светланой. Изнежили девочку, испортили излишней заботой. Вот она и решила, что ей все дозволено. Ну и пример родителей...

— Какой пример! — возмутился Рожков. — Что вы такое говорите...

— Вспомните, с каким злом Светлана

упрекнула вас ранним отцовством. Ведь она считала вас родным отцом. И не думайте, что потеряли дочь. Со временем Светлана оценит вашу заботу. Возможно, уже оценила. Чем деньги посылать, приезжайте-ка повидаться с внуком. Ну что вы на меня уставились? — рассмеялась я. — Да, с внуком. Ведь он и фамилию носит вашу — Володя Рожков.

— Володя?! — удивился инженер.

— Пойдите, вас, кажется, тоже Владимиром зовут?

— Да, Владимир Иванович...

— Вот видите! Возможно, Светлана назвала сына в честь вас.

Владимир Иванович улыбнулся:

— Ну, спасибо! А то у меня такое чувство было, будто зазря половину жизни прожил, точно какую-то трудную работу годами делал и оказалось, что она никому не нужна.

— Вы и делали трудную работу.

После этого Владимир Иванович стал бывать у нас. Поднимая с постели Володьку, наговаривая о дедушкиных подарках, Светлана вдруг спросила:

— А сколько лет Валерию Петровичу?

— Тридцать, восемь...

— Вот. А отец на два года моложе. Почему бы вам, Софья Васильевна, за отца замуж не выйти? Вы чем-то схожи... Не внешне, конечно! Вы хорошенькая, даже красивая, а он — сами знаете — веснушки, как лопухи...

— Сваха из тебя, Светлана, не очень-то! Ошибся в тебе Владимир Иванович, — грустно улыбнулась я.

— Боже сохрани, Софья Васильевна, словечка от него не слышала. Клянусь! Но, думаю, зачастил он к нам не только из-за меня и Володьки. Он ведь малость придурковатый, не от мира сего. Всю жизнь промолчать может! Мама так и называла его «Дурачок мой...»

— Мне не нравится, Светлана, что ты так неуважительно говоришь об отце! По-моему, ты просто не выросла, чтобы понять и оценить его. И потом, к чему

этот разговор? Ведь ты же знаешь... — голос у меня невольно прервался.

— Чего знать-то, год поревели, и хватит!

— Замолчи, пожалуйста! — оборвала я Светлану. И, стараясь свести разговор к шутке, сказала: — Какая я невеста, если давно бабушка!

Но разрядить атмосферу не удалось. Светлана уже завелась:

— Ну и сидите тут кикиморой! Мне вот хорошую работу предлагают, уедем с Володькой.

— Кто это предлагает?

— Да есть люди! — решила Светлана пококетничать, но, взглянув на меня, заорала: — Чего глядите-то?! Маленькая, что ли, опекать-то меня. И намного ли вы меня старше? Только воображаете из себя бог знает что, даже на «ты» стесняюсь назвать! А работу предлагают в профучилище. Я же весной на конкурсе первое место заняла. Приглашают на должность мастера. Хоть сегодня бы уехала, вас жаль, засохнете тут с тоски!

— Чудачка, — засмеялась я, — у меня работа, люди кругом... А ты устраивай свою жизнь! В районе тебе будет лучше. Ну чего ты? — обняла я Светлану, увидев, что она зашвыркала носом, собираясь реветь.

Тут Володька начал вытряхивать в коридоре авоськи, и мы, столкнувшись в дверях, бросились подбирать раскатившиеся по полу яблоки.

ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ

На юбилей детского дома я все же опоздала. Торжества уже закончились, но приняли меня как родную. Лев Семенович даже прослезился. Он постарел. Рыжая шевелюра стала кремовой. В помощь протезу обзавелся тросточкой. Однако был по-прежнему бодр. Сообщив, что на пенсию пока не собирается, повел меня в небольшое зальце с полукруглыми окнами; на одной из стен, золотом, в древнерусском стиле, выведено «Уголок

славы». Висят портреты бывших воспитанников, ставших гордостью детского дома: два Героя Социалистического Труда; известный писатель — хант по национальности; археолог, раскопавший какой-то древний город...

Лев Семенович открыл витрину с поделками, рисунками детей и достал исписанный фиолетовыми чернилами тетрадный лист. В конце листа вместо точки красовалась клякса.

— Поглядите-ка! — сказал Лев Семенович.

«Сочинение ученика 6 класса Алексея Шишкина на тему «Фамильная честь», — прочитала я. — Родителей своих не помню, поэтому родословная будет начинаться с меня. Моя фамильная честь состоит в том, чтобы приносить пользу и быть честным. Люди, которые живут только для себя, — навоз планеты Земля. А еще есть люди-паразиты. Дантес, например. Зачем он родился? Чтобы Пушкина убить? Никогда не буду паразитом и захребетником...»

— Вот так понимал Леша жизнь еще подростком, — Лев Семенович аккуратно положил Лешино сочинение на прежнее место, под стекло. — Теперь, — сказал он, — родословную Лещи придется продолжать вам. Духовное родство куда крепче кровного! Будут у вас дети...

— Дети? Какие дети, Лев Семенович? — с упреком сказала я. — Уж не собираетесь ли и вы меня замуж выдать?

— Нет, не собираюсь. Но есть старая, давно известная истина: всю жизнь сгорем жить — лучше не жить! Да, конечно, Леше нужна память, но жертвы бы он не принял, гордый был.

Гордый... Решив, что мне нравится Валерий Петрович, умчался в нефтеразведку, развязал мне руки. Неудержимо полились слезы. Я не хотела плакать, но ничего не могла поделать с собой.

— Ну будет, будет! — приобнял меня Лев Семенович. — Пойдемте, познакомлю со своими орлами.

«Орлам» лет по десять. Разномастные

мордашки — русские, хантыйские, ненецкие — с любопытством уставились на меня.

— А где же... — я хотела спросить, где те, за которых Лев Семенович платил «контрибуцию», да вовремя спохватилась — прошло пять лет — и не спросила.

Но Лев Семенович, должно быть, понял меня, засмеялся:

— Те давно улетели! И знаете, нет долго писем — забота берет: все ли ладно, не случилось ли что? Придут вот такие гаврики, — кивнул он на ребят, — и по восьмой класс на моих руках, ведь хочется, чтобы каждый человеком стал...

Лев Семенович отпустил ребят. С шумом, толкаясь в дверях, они понеслись на улицу.

— Лешей я, признаться, горжусь, — сел напротив Лев Семенович. — Говорят, был обязан так поступить... Да, чувство долга должно жить в каждом. И все-таки горжусь! До последней минуты боролся и за свою жизнь, и за жизнь другого человека. Погиб как воин! У меня, Сонечка, есть прекрасное вино. Пойдемте ко мне, помянем Лешу, пусть останется в нашей памяти вечно.

Вдруг Лев Семенович засмеялся:

— Я очень удивился, — сказал он, — когда получил от Лешы приглашение на свадьбу. И шести месяцев не прошло, как его комиссовали из армии. Он очень переживал — с детства мечтал о воинской службе. Работать поехал в самом мрачном настроении. «Я никогда не женюсь — объявил он, — состаритесь, прибавляйтесь ко мне, вместе будем жить...» И бах — свадьба! Ухватил-таки Леша бога за бороду — был счастлив вашей любовью, верностью, счастлив тем, что знал задачи своего поколения, а значит — и свое личное предназначение...

Комната у Льва Семеновича в конце коридора, угловая. Одно окно смотрит на кирпичное основание трубы от котельной, другое — на полого сбегающий берег, на полоску реки, на заречно-озерные дали за нею. Меж этим окном и диваном втис-

нут громоздкий книжный шкаф — по всему видать, изделие детдомовской мастерской. Все остальное — стол, диван, четыре стула — стандарт нынешней полированной мебели. Над диваном очень хороший, яркий портрет молодой женщины — холст, масло! Фотографию этой женщины видела в Ленинграде у знакомых Льва Семеновича. Вероятно, портрет писан с фотографии. Мне хорошо запомнилась поза женщины — чуть откинутая назад голова, иронически-добрая улыбка, запомнился фасон платья, крупные белые бусы, надетые под воротник.

— Ваша жена? — спросила я.

— Нет. Это моя мать! Она погибла в блокадном Ленинграде. Я не был женат. На войну ушел мальчишкой. В двадцать лет уже инвалидом стал, по этой причине ухаживать за женщинами стеснялся. А такой, которая бы сама проявила инициативу, не встретил. И остался холостяком. Окончил после войны педагогическое училище и всю жизнь здесь — в детском доме. Тут моя семья, дети...

— Спасибо вам, Лев Семенович! — чувствуя за собой вину за былую неприязнь к Льву Семеновичу, коснулась губами его щеки.

— Да за что же, Сонечка? — совсем по-детски смутился Лев Семенович.

— За Лешу, за меня, за всех...

На другой день, невеселым сумрачным, утром, Лев Семенович, ребята из его группы пошли провожать меня. Отпуск заканчивался, портилась погода, и я спешила поскорее выбраться к большой реке, к пристани, чтобы пересесть на проходивший мимо теплоход. И там, через сутки, уже рассчитывала быть в поселке.

Когда прощались, один из мальчишек стеснительно сунул мне перевязанный по стебелькам нитками букетик полярных маков. Эти северные колокольчики рано появлялись и цвели дольше луговых трав. Лучшего подарка нельзя было

придумать. В руку сон — Леша принес букет полярных маков...

Расцеловала парнишку, обняла Льва Семеновича. Поднявшись на катер, помахала рукой. Уже убрали доску, служившую трапом, когда кто-то из ребят спросил:

— Вы теперь когда к нам приедете?

Я взглянула на Льва Семеновича.

— Летние каникулы, Сонечка, начнутся, и приезжайте! Весна у нас красоты неописуемой — ярко-розовая!

Пообещав приехать, окинула взглядом белесое небо, низкий берег в серых пятнах ягельников. Детский дом — темный, бревенчатый, двухэтажный в центре, с одноэтажными пристройками по бокам — издали напоминал гигантскую птицу с распахнутыми крыльями, готовую вот-вот взлететь. Да, я приеду сюда еще не раз. Это Лешин дом. И я не могу не приехать, но розовая тундра...

Затарахтел мотор. «Сонечка, — донеслось с берега, — угадайте свое предназначение, и вы будете счастливы-ы-ы!»

Вспенивая воду, катер рванулся на середину реки. Навстречу, прямо из воды, всплыло солнце. Небо, вода в реке зарумянились. Солнечные ночи уже закончились — утро как утро. А в тот день, весной, когда Леша ушел в третью бригаду вызывать врача, солнце взошло ранним-рано. К вечеру у меня на руках барахталось существо, которое своим появлением обязано только мне — ни отцу, ни матери — мне! Почти материнская нежность к этому мальчишке не покидает меня до сих пор. Приезжая в бригаду, спешу к нему на свидание. Безошибочно нахожу их чум, хотя он всякий раз на новом месте и точно такой, как у других.

Та весна была прекрасна, очень скоро спала вода, запылал багульник... А ведь Лев Семенович прав — тундра весной и впрямь ярко-розовая! И не только розовая. Красок тундры не перечесать. Я уткнулась носом в прохладный букетик полярных маков. От них пахло свежестью, чистотой...

г. Гурьевск



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Так город встречал,
 так трамвай погромыхивал,
Как будто лет сто пролетело вдали.
Так глаз светофора растерянно вспыхивал,
Что сердце ломало мне ребра мои.

И шагом нежнейшим по улицам ранним,
По коже асфальта, родимой до слез,
Я нес свое счастье и боль узнаваний...
И голос, и гордость, и песню я нес.

Не в этих ли улицах, в этих ли окнах
Мне море мерещилось, дали и ширь.

И в свитере грубом, и в свитере моком
Я делом приветствовал ветер и жизнь.

Я дома. Отплакались и отсмеялись.
Вгляделись в морщины, вгляделись в глаза.
И скрытую боль я в тебе замечаю:
— Ну, что тебе, мама, могу я сказать?

Ах, мама! Я жил, с этим веком не ссорясь.
И пел, и любил на ходу.
Рабочие руки, как чистую совесть,
На стол пред тобою кладу.

* * *

Когда в ночи крепчает свежий бриз, —
услышав песню старого каната,
не я ль порой зову тебя:

«Вернись!»

Как будто ты не рядом...
 под бушлатом.

Как будто в сердце огненном
 моем
твой шепот мне не лихорадит тело...
Как будто где-то в городе своем
ты в море
 равнодушно
поглядела.

ШИПОВНИК

Г. Абольячину

Я устал. Я уже не могу.
А когда устаю, — вспоминаю:
Море. Берег. И на берегу
Куст шиповника я обнимаю.

Как мы рвемся порой к красоте.
Но, поверь мне, она не повинна,

Что в своей неземной простоте
Колет, режет и мучит так длинно.

Долго-долго уже я в пути.
Вдоль моих пропыленных обочин
Все ж сумели цветы расцвести, —
Это все, что я смог, между прочим.

РАЗОРВАННЫЙ ВЕТРОМ

Сегодня я не улыбнулся.
Не поздоровался.
И, хуже, — напрочь забыл о ком-то
за чашкой чая и телевизором.
Плохо?..
Плохо!

Но что это
по сравнению с памятью
о дочери,
рванувшейся ко мне
и не смогшей выговорить
самого простого слова?!

И я, разорванный ветром,
вздрагиваю опустевшей душой.
И из последних сил
пытаюсь жить
по-человечески.

В ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

В моих тополях и в моих переулках
Как выросли вы и откуда взялись,
Мальчишечье племя в болоньевых куртках
И в пятнах ликующих, радостных лиц?

Мужская соленая сентиментальность —
Не слабость, не дрожь
размягченных ресниц,
Не просто щекочущая моментальность.
А то — за что в бой мы идем со страниц.

Не важно — погибнешь ты словом иль телом.
Лишь только бы знать: в поределом строю
Другие, взрослея, за общее дело,
За общую песню спокойно встают.

Все тридцать слетело с костяшек.
Казалось: итожить пора.
Но час подведения итогов не тяжек.
Не легок, И жизнью гремит со двора.

* * *

Все снега ждет,
Все ждет зимы.

И в парке холодно и строго.
И что-то есть в тебе от бога.
Среди пустующих аллей
Рукою теплой, без перчатки,
Касаешься стволов печальных
И говоришь мне: — Не жалея...

Не мучься памятью тепла
И не проси ему продления.
Пойми, вот и к тебе пришла
Прозрачная пора прозренья,

Когда среди вчерашних дел
Находишь грозные пустоты,
Пытливо спрашивая — кто ты?
И что в других не доглядел?

И строчки хочется слагать
Влекущие, как пламень дальний...

Мы входим в белые снега,
Как в чистоту
Исповедались.

* * *

Весной, словно память о прошлом,
Сжигают сухую ботву.
Чем дальше, тем дольше и горше
И сердцу уже и уму.

Как много друзей раньше было,
Как щедро любил и терял.
Над речкою в облаке дыма
То тает, то жжет краснотал.

Я гость здесь веселый и бойкий,
Но только шагну за порог,
От дыма и душно, и горько:
Не смог. Не сумел. Не сберег...



Виталий Креков

* * *

Где исток золотого тепла,
Остро чувствую долю сыновью.
Это поле душа приняла,
С той поры изболелась любовью.

Тянет к русской родной стороне,
Как кровиночку к жаркой кровинке.
Там на теплых ветрах по весне
Слезно плачется в курской глубинке.

Я ведь весь сибиряк! Через край
Дарят мне божество и раздолье
Минусинская степь, и Алтай,
И кедровые рощи Притомья.

Только прежний потерял покой.
Эта скорбная светлая память
Вся во мне, словно столб соляной,
Все стоит и не может растаять.

Значит, нет мне другого тепла.
Где любовь, там надежда и сила.
Эту память душа приняла!
Приняла — белый свет откупила.

ИСПОВЕДЬ СИБИРЯКА СТЕПАНОВА, ПЛОТНИКА

В кедровнике, среди таежных пашен,
похоронив меня буранным днем,
ушли жизнь помянуть холодной кашей,
толченою, овсяным киселем.
Закончил путь, минуты не просрочил,
все годы к лучшей доле торопил.
Войну страдал, работал дни и ночи
и бедных вдов неграмотно любил.
Но был знакомый голос в час прощальный:
о, назови мне слов такую твердь,
чтоб дух мужицкий, проступая далью,
мог мартовской лазурью зазвенеть.

* * *

Приехал в полдень. Просияло зыбко
лучом тепла в Марейн огород.
Светло над поселковым клубом скрипка
мелодию в далекое ведет.

Вот в дом вхожу. Жму руки сродных братьев,
Как грусть о днях ушедших, дорогих,
киоты обмелевших фотографий
людей, которых нет уже в живых.

Жизнь сладкая и горькая — все праздник
С такою верой обновляя мир,
зазеленел мой скромный палисадник
и птичий гомон огласил эфир.

КРУГИ ЛЮБВИ

*Не встречайтесь с первой любовью,
Пусть она останется такой —
Острым счастьем, или острой болью,
Или песней, смолкшей за рекой.*

(Юлия Друнина)

Война окончилась. День торжества добра над злом, день состоявшейся справедливости, день Победы, множество раз в мечтах и снах пережитый, не только наступил, но и отшумел уже победной музыкой и счастливым гулом вечерней праздничной толпы, отсверкал вспышками разноцветных гирлянд. Оглушенные послевоенной тишиной, мы, шестеро женщин, пережившие крушение трех семейных плотов, потерявшие четырех мужчин и чудом не потерявшие друг друга, наконец собрались в Ленинграде, чтобы начать новую совместную жизнь в квартире папиной сестры, единственной из шести пережившей войну (наша квартира оказалась занятой). Мы — это бабушка, жившая до войны со своим старшим внуком, погибшим в первые же месяцы войны, (не прожив с нами и года, она умерла оттого, что не смогла смириться с положением квартирантки у тети Мани, которую, как и всю папину родню, всегда активно не любила; тетя Маня, осиротевшая после гибели мужа и приемного сына; мама, похоронившая в блокаду кормильца семьи, и трое ее дочерей. Я одна из шестерых имела специальность и уже год отработала воспитательницей детского сада, заканчивая в вечерней школе восьмой класс. Но на семейном совете порешили, что и я с осени оставляю работу, иду в дневную школу.

Осень 1945 года стояла дивная, как награда за пережитое! До чего ревностно, трепетно любила я Ленинград той осенней порой! И не только в ясный солнечный день, такой щедрый на золото и багрянец, — золото, рассыпанное по газонам и дорожкам, золото куполов и шпилей, золото крон над головой на фоне бледно-голубого неба, когда воздух прозрачный до звонкости, когда на душе радостно, легко, окрыленно. В такие дни трудно было усидеть дома; хотелось бродить, растворяясь в красоте и классической строгости города, его парков и садов, его памятников, дворцов, набережных. Это были часы счастья.

Но не меньше я любила Ленинград серый, пасмурный, в проливной дождь или в мелкий прерывистый дождик, когда все вокруг было серьезно, сосредоточенно, когда тебе сообщался заряд удивительной работоспособности, когда все ладилось, все получалось. И это тоже были часы счастья.

При нашей полуголодной, почти сиротской действительности с ее узлом нерешенных житейских вопросов, с безрадостными заботами о здоровье сестер, серьезно пошатнувшимся за годы войны, откуда ему взяться, этому ощущению счастья? Но была молодость, было, тем не менее, тепло семьи, были неосознанные, неоформившиеся, какие-то неясные

надежды и мечты, как голубой дым, как золотой туман, как сверкающая где-то впереди радость.

Сейчас, когда я вспоминаю эти два последних школьных года, мне порой кажется, что одновременно, параллельно я прожила две отдельные, совсем разные жизни. Одна жизнь — это новый для меня предмет в школе (в эвакуации не было иностранного языка), и мне легко и радостно от незнакомых звуков, от сознания великолетия мира, в котором одна и та же гениальная, да и просто мысль помножена на бесконечное число языков; это — первая девчончья дружба и радость узнавания; это — школьный драматический кружок, волнующий, манищий мир прекрасного; это — круг моих сверстников с их надеждами, исканиями, хрупкими, неокрепшими чувствами и страстной красивой мечтой о театре; это — первая влюбленность, а может быть, что-то иное, чему я не знаю названия. Другая жизнь — это непрестанные поиски приработка на воскресные и каникулярные дни; это — регулярные посещения загородного туберкулезного санатория, где немало месяцев провела Томчик; это — мучительные уроки физики, над которой, как я ни билась, так и не смогла одержать полной победы, уроки физики, безжалостно хлеставшие по моему самолюбию, оскорблявшие его.

Но вот и с физикой благополучно покончено, позади все экзамены, выпускной бал; позади детские, юношеские годы; впереди — взрослая жизнь, в которую я вступила со смешанным чувством боязни и радости, как если бы окунулась в освежающе холодную воду бурной реки.

...Мой путь от дома до института был долгим — сорок пять минут езды трамваем, — но каким содержательным! Не будет откровением сказать, что в Ленинграде множество интересных маршрутов — автобусных, троллейбусных, тем более пешеходных, но я гордилась моим трамвайным, студенческим. Он, насыщенный

красотами и памятными местами, вселял в меня сознание особой везучести. И в самом деле, ведь не каждому даже ленинградцу отпускается удача дважды в день четыре года подряд созерцать, пусть сквозь трамвайное, не всегда чистое стекло, примечательности, без которых Ленинград утратил бы что-то очень важное, органически необходимое, лишился бы не только какой-то доли прелести, но и цельности — архитектурно-исторической, эстетической, эмоциональной.

Мы жили на Петроградской стороне в районе Зоологического сада. Мой трамвай громыхал по проспекту Максима Горького, огибая парк имени Ленина, оставляя слева квартиру-музей А. М. Горького и ближе к Неве — утопающий в зелени особняк изысканной архитектуры, построенный в начале века для фаворитки императора балерины М. Ф. Кшесинской. В этом здании в наши дни размещился Музей Революции.

Спускаясь с Кировского моста, строгого и одновременно легкого, я бросала взгляд на памятник А. Суворову. По выразительности силуэта этот памятник — удивительное произведение монументального искусства, и мне он нравился, но всегда казался недостаточно внушительным, величественным — все-таки генералиссимус, а тут такая, я бы сказала, игристая фигура молодого воина.

Оставляя в стороне библиотечный институт, трамвай выезжал на прямой отрезок пути между изящно-классическим Летним садом, чудом творения духа и рук человеческих, и торжественно-строгим Марсовым полем, в оформлении которого пластами накладывалась история. Я едва успевала запечатлеть в себе (уже в который раз!) статую Психеи и Амура в ближайшей к трамвайному пути аллее Летнего сада, увидеть в отдалении неясные очертания других белых мраморных фигур и чуть ниже — черных грациозных лебедей на озере, как справа уже начинался Михайловский сад с его хорошо продуманной запущенностью,

запланированной естественностью. Далее мой шумный, трескучий, демократичный трамвай поворачивал налево, к Инженерному замку (в прошлом Михайловскому) и, миновав купольное здание цирка, выезжал на Литейный проспект к квартире-музею А. Н. Некрасова.

Пока я предавалась думам о Некрасове, о его нелегкой, запутанной, далеко не счастливой личной судьбе, сложных взаимоотношениях со многими знаменитыми соотечественниками, трамвай уже съезжал с улицы, названной его именем, и несколько минут спустя в конце открывшейся аллеи уже показывалось классическое здание Смольного, бывшего института благородных девиц, а ныне местопребывания руководства области. По соседству с ним в первой половине XIX века были построены помещения с кельями, в которых позднее был организован Пансион мещанских девиц. Именно в этом помещении монастыря находился институт иностранных языков, куда я поступила после окончания школы. В его мрачных неуютных кельях проходили наши групповые занятия, по его длинным, как ущелья, узким запутанным коридорам мы зачастую подолгу петляли, отыскивая нужную нам комнату-келью.

Бывали дни, когда я не смотрела в трамвайное стекло, я читала. Произведения многих французских писателей разных эпох, разных направлений прочитаны мною в трамвае. За время пути я успевала проглотить полсотни, а то и больше страниц оригинального текста, который предстояло в институте проанализировать и пересказать. За годы студенчества так много сладостных воспоминаний связано у меня с трамваем, что и по сей день я сохранила к нему нежность и благодарность.

Но в этот день я не читала и ничего не видела, хоть и упорно смотрела в плачущее от дождя трамвайное окно. Я была во власти своих неотступных, словно навязчивый тяжелый сон, дум.

Накануне я весь вечер провела у Максима. За прошедший год, год не очень счастливо протекающего романа, я бесконечное число раз пыталась воспроизвести в памяти наш первый разговор с его матерью и наконец понять, что же могло дать ей основание сказать обо мне: «Ума больше, чем надо». Несмотря на формально положительный смысл слов, было ясно, что мне дана оскорбительно отрицательная характеристика. Еще не услышав этой фразы (позднее удалось вытянуть ее из Максима), я уже знала приговор, прочла его в глазах матери. И сейчас еще, спустя три с половиной десятка лет, эта фраза обжигает меня чувством обиды, несправедливости. Пройдут годы, и его мать с горечью поймет, что была неправа, что виновата перед сыном.

В общем, мне было трудно встречаться с его матерью, но он несколько раз, слегка хмурясь и как бы внутренне собираясь, тихо, но настойчиво повторял: «Ты должна у нас бывать, мама должна к тебе привыкнуть». Значит, я в чем-то не дотянула, его мать меня не хочет, но со временем, возможно, свыкнется, стерпит. Неужели он не чувствует, как эта фраза меня ранит? Я не находила слов возразить вслух и заставляла себя слышать в сказанном только верность, только серьезность намерений, только желание все уладить.

И на этот раз все было так, как в день знакомства, как много раз потом: она пронзила меня своим коротким, но пристальным, изучающим, недобрым взглядом, под которым я внутренне вся съежилась и уже не могла чувствовать себя ни легко, ни просто, ни естественно. И хотя по обыкновению меня здесь принимали вежливо, с чаем, но видит бог, насколько мне было бы приятнее, если бы согревали не чаем, а радушием и сердечностью.

Когда бы не «короткое замыкание», не осечка в контакте между нами, эта женщина скорее всего понравилась бы мне:

невысокая, светлоглазая, с короткими пышными волосами, немногословная, с чувством самоуважения. (Тетя Маня никогда не пропускала случая поправить меня: «У них не самоуважение, а себя-уважение, не самолюбие, а себялюбие».) Окончив два высших учебных заведения, она занимала ответственный пост в какой-то организации и, видимо, ценилась как работник — когда война уже шла к концу, ее разыскивали в эвакуации и вызвали на работу в Ленинград. Рано похоронив мужа, она сумела воспитать серьезного, трудолюбивого, любящего сына, послушного, слишком послушного...

В присутствии матери Максим не пытался меня подбодрить, поддержать, он был в стороне, нейтральным. Но как только на несколько минут мы оставались одни, он преображался, становился удивительно ласковым, любящим: казалось, он видит, как мне у них дома одиноко и неуютно. И тогда, в минуты зачлестнувшего меня чувства благодарности и ответного радостного волнения, забывались обида, задетое самолюбие, забывалась эта чужая недоступная женщина, которую боготворил родной мне человек.

В один из таких вечеров мать вышла в кухню, Максим поспешил за ней, оставив меня наедине с семейным альбомом. Дверь комнаты слегка отошла, и через небольшую прихожую я услышала разговор из кухни:

— Славная, правда?

— Очень обыкновенная. Ты слишком восторженный, мой мальчик.

— Пусть. Дядя тоже говорил, что очень симпатичная.

— Достаточно симпатичная, чтобы писать ему списки.

Я с острым леденящим чувством ощутила себя в этом доме чужой, бесприютной. На обратном пути несколько раз порывалась сказать Максиму, что слышала разговор, но так и не решилась. Почему? Неужели уже тогда я догады-

валась, что он слаб, что власть матери над ним всеподавляющая?

Моя неуверенность, ранимость усиливались еще отсутствием тыла, благополучия в семье. Дома были болезни, нужда, незащищенность. Нужда от посторонних тщательно скрывалась. Наше жилище было обставлено и убрано вещами, сохранившимися с довоенных времен и выглядело вполне респектабельно. Тетюшка привнесла в наш общий дом поклонение чистоте и порядку. Обед мог состоять из хвоста селедки и двух-трех картофелин, но стол непременно накрывался накрахмаленной скатертью и сервировался. (Помню, как много лет спустя, приехав ко мне в гости в Сибирь, тетя Маня не могла заставить себя сесть за кухонный стол, накрытый просто клеенкой, кстати, премиленькой, хотя завтрак ее оскорбить никак не мог.)

Наши платья, костюмы, легкие пальто тетя Маня создавала, а не просто шила из старых вещей, и частенько вынужденный фасон срисовывался и потом повторялся нашими подругами уже из новой, дорогой ткани. Благодаря нещадной «самоэксплуатации» тетюшки и отчасти нашей фантазии с платьем обстояло не так уж плохо. Но вот обувь надо было покупать, покупать, естественно, за деньги, а их элементарно не хватало на поддержание жизненных сил. К тому же здоровье сестер требовало усиленного питания. И когда я приходила в сытый и благополучный дом Максима, у меня никак не получалось быть спокойно-уверенной, естественной, раскованной.

Нет, она, конечно же, на него не давила, тогда еще нет. Но, воздействуя тонко, неназойливо, постоянно, гасила его влюбленность, восторженность («это пройдет, ты ее выдумал»); отводила меня на другое, менее почетное в его душе место («у нас есть билеты на торжественное открытие стадиона имени Кирова, но со мной хочет пойти мама.» То же повторялось с билетами на самые интересные концерты или спектакли).

Как чутка любовь! Я всегда безошибочно угадывала в нем мамины реакции, ее слова, интонацию. С некоторых пор в редкие минуты она не стояла между нами.

Я чувствовала, как по частичке теряю Максима, но бороться не видела в себе силы. Да и не хотелось воевать, хотелось быть ее союзницей, ведь ее сын нас объединял. Хотелось уважать, гордиться ею, но она не старалась облегчить мне мою задачу, а я не знала, каким образом честно, достойно войти в ее доверие; хитрить же, подлаживаться, угождать не умела. Ах, если бы молодость знала...

В те годы моя институтская подруга Леля проповедовала теорию, согласно которой любовь—это вирусное заболевание. Вирус может передаваться взглядом, голосом, улыбкой, движениями, прикосновением и т. д. У каждого свой вирус. К определенным вирусам можно иметь иммунитет, к другим—быть восприимчивым. Любовь, как и всякая другая болезнь, может протекать легко и пройти бесследно, а может быть тяжелой и давать серьезные осложнения. Вполне возможно ее превращение в хроническую форму с рецидивами. Исходя из этих посылок, в том же полусерьезном грустно-веселом ключе я поставила себе диагноз: тяжелая неизлечимая форма.

Ночью я плакала, да и днем еще мое настроение было созвучно погоде с ее беспросветностью, безысходностью, как тупик, куда прибыл мой трамвай. Я все больше склонялась к решению не бывать у них дома, хотя и понимала, что это может означать перелом в наших отношениях. Я мучительно обдумывала это решение, направляясь в институт.

Вечером встречи с Максимом не будет—я занимаюсь французским языком со школьницей, дочерью наших соседей Юхтовых—Евдокии Никифоровны, мужского парикмахера, и Петра Ивановича, директора булочной. Однажды, когда дома была только мама, зашел Петр Иванович и, густо краснея, как могут крас-

неть только рыжие, пряча свое простое веснушчатое лицо, сказал, что боится маму обидеть, но мог бы предложить ей буханку хлеба, чистого, хорошего, вот только с оставшей верхней коркой и потому выбракованного, в продажу не поступившего. Мама не обиделась, она была ему благодарна,—тогда еще продукты выдавались по карточкам и их всегда не хватало. Петр Иванович обрадованно, облегченно улыбнулся и тут же принес буханку свежего, аппетитно пахнущего хлеба. Мы знали, что эти тихие, доброжелательные люди к нам относятся уважительно, с сочувствием.

Когда я занималась уже на втором курсе института, Евдокия Никифорова попросила подтянуть по французскому языку их дочь Любу, и я с радостью взялась за это дело. Очень хотелось быть доброй, я заметила, что делать добро, помогать, давать, дарить, доставлять радость необычайно приятно. Тогда еще авторитет доброты был достаточно высок. Это сейчас с грустью отмечаешь, как среди прочих моральных ценностей доброта становится все менее популярной, добрый человек зачастую воспринимается как несовременный и даже нелепый.

Родители девочки пытались расплачиваться со мной подарками, но нам удалось их убедить, что эти занятия нужны мне самой как дополнительная практика.

А вообще-то в те годы я постоянно подрабатывала. Кем только я не работала! Пионервожатой и воспитательницей в пионерских лагерях, переводчиком на аукционе во Дворце пушкины, инженером планового отдела завода (считала на арифмометре), библиотекарем (все лето перетаскивала книги, так как в библиотеке был ремонт). Но вот однажды зимой мой дядюшка предложил мне аккордную, хорошо оплачиваемую работу—за вечер я получала четверть моей повышенной стипендии. Работа заключалась в том, чтобы, стоя у входа в кинотеатр, баню, цирк, на каток, стадион записывать улицу и номер дома пришедшего.

Ни квартиры, ни фамилии сообщать не требовалось, и тем не менее все — кто возмущенно, кто удивленно, кто безразлично — пытались уклониться от ответа. Мы должны были очень спокойно, терпеливо разъяснять, убеждать и записывать адреса. Полученные данные использовались в работе по планированию городского хозяйства, которую проводил дядин знакомый Павел Григорьевич.

Записывая адреса, я отмечала, что кинотеатры посещались не по принципу близости к жилью, а по интересу к фильму; еще в большей степени это относилось к театрам; цирк в Ленинграде один, так что адрес тоже не имел значения; на стадион приезжали с разных концов города, когда встречались любимые команды. Не знаю, как планируется городское хозяйство в наши дни, но ни в Ленинграде, ни в Сибири я с тех пор ни разу не имела случая наблюдать со стороны или быть в качестве опрашиваемой. Возможно, мы своей работой доказали ее неэффективность и даже более того — ее бесполезность и абсурдность. Но очень здорово, что тогда в эти списки верили, что эта работа была нужна и что в тот далекий день мы работали вдвоем.

Когда я подошла к кинотеатру, у входа заметила двух высоких мужчин: один пожилой (с ним я была знакома), чем-то похожий на К. И. Чуковского и уже одним этим симпатичный, другой молодой, чуть старше меня, его племянник Максим. Произошла забавная сценка: Павел Григорьевич не хотел меня узнавать, а я доказывала, что я — это я.

— Вы — сестра Алины? Как вас зовут?

— Нет. Это — я, Алина. Мы с вами уже встречались.

— Но это были не вы. Деточка, скажите, как ваше имя? Вы с сестрой очень похожи, но все-таки есть разница.

— Да нет же. И тогда была я, и сейчас я.

Он смотрел на меня недоверчиво, странно улыбаясь. Ну как мне убедить

его? В растерянности я повернулась к Максиму, как бы ища поддержки и понимания, и впервые внимательно посмотрела на его лицо. Он широко, очень по-доброму улыбался, и улыбка красила, преображала его узкое, бледное, почти изможденное лицо. Я отметила, что у него небольшие, но яркие, очень глубоко посаженные карие глаза с голубоватыми белками. Одна бровь была несколько выше другой, и создавалось впечатление, что он удивлен. (Потом я уже знала, что это выражение удивления появляется на его лице всякий раз во время улыбки.) Из-под меховой шапки упрямо выбивались темные вьющиеся волосы.

Я почувствовала, как во мне внутри все осветилось и как будто соскочила какая-то пружинка. Потом долго я не переставала ощущать в себе этот теплый свет. И мгновенно все упростилось, стало легко и весело.

— Ну что ж. Мою сестру зовут Аня. Называйте меня, как вам больше нравится. Я готова приступить к работе.

Несколько раз в тот вечер мы с Максимом заходили в кассу греться — на морозе руки отказывались писать разборчиво. Стоя у плитки друг против друга, мы подолгу молча смотрели в глаза, и какие-то таинственные теплые токи, глубоко проникая, сближали, соединяли нас, что-то завязывалось.

Через день мы должны были работать у цирка, но Максим не пришел — его свалила простуда с высокой температурой. Быстро сообщив мне это, Павел Григорьевич объяснил, каким образом передать ему списки, и поспешил к больному. Я работала за двоих, едва успевая объяснять, убеждать, записывать и потому почти не вспоминала моего нового знакомого. Но на следующий день, передавая бумаги, почему-то смущаясь, я спросила Павла Григорьевича о самочувствии Максима, и после короткого внимательного взгляда на клочке бумаги был записан номер его домашнего телефона как предложение узнать самой. Я

позволила через несколько дней, к телефону подошел Максим и сразу предложил встретиться.

С тех пор прошел год, но я не забыла того странного двойственного чувства, удивившего меня при знакомстве: с одной стороны, мне показалось, что я очень давно и близко знаю Максима, именно его ждала, что в какой-то другой, прежней жизни (мистика какая-то, а может быть, то сие?) я его уже любила; но вместе с тем я точно знала, что не только его, но и похожих на него я никогда еще в жизни не встречала; он очень отличался от всех молодых людей, а еще раньше — мальчиков, с которыми меня сталкивали обстоятельства. Его манера держаться — я бы сказала, сдержанно-обаятельно, по-домашнему просто, мило (это от воспитания), но в то же время сохраняя дистанцию, никогда ни в каком обществе не растворяясь, не смешиваясь с остальными (это и от характера тоже), — приковывала к себе внимание, выделяла его из самой пестрой и многочисленной компании.

Максим был довольно высок, худощав, строен, вернее, прям, как трость; однако в движении он утрачивал стройность и отчасти привлекательность — он сильно косолапил, ставил ступни ног носками внутрь, причем это движение каким-то странным образом начиналось с бедер. Когда я заметила это в первый раз, то весело подумалось, что, наверное, так двигался у Л. Толстого Каренин. Максим знал этот свой недостаток, вначале стеснялся его и, контролируя себя, при большом напряжении воли преодолевал косолапость. Но я дала понять, прижав локтем к себе его руку во время прогулки, что не надо стараться быть другим, лучше, что я принимаю его целиком таким, какой он есть. Ведь дело было уже сделано, «пружинка соскочила», и какие-то там мелочи не имели ровным счетом никакого значения.

Я вообще заметила у любви одно свой-

ство или даже закономерность: можно убежденно, категорически до поры до времени не принимать, отвергать что-то во внешности или в образе человека в целом. Но такие теоретические установки в жизненных ситуациях рушатся, как только сработает «механизм пружинки», совершится волшебство пленения. К примеру, Он предпочитает только стройных блондинок и только с полными ногами. Это — установка, заданность. Он убежден, что не сможет полюбить женщину другого типа красоты. Но вот Ему встречается не очень стройная брюнетка, что-то в нем задевает, «пружинка соскакивает, и летят в тартарары все установки, все заданности. Таинство свершилось. Он начинает упоенно познавать Ее, отыскивать в Ней достоинства и вдруг замечает, что у Нее блестящие черные волнующие волосы, а фигура пусть не спортивная, не стройная березка, но зато как женственна. И хотя Ему до ноющей боли под ложечкой продолжают нравиться тонкие блондинки с полными ногами и провозжает Он их взглядом, полным любования, но любит антипод. «Пружинка соскочила», и все покатилося, понеслось вопреки убежденностям, вкусам.

Так, очевидно, случилось и со мной. Объективно, безотносительно к Максиму, до него мне не нравились молодые люди подобной внешности, тем более с такой своеобразной походкой. Завидя его вдаль, я всякий раз непременно отмечала его хоть и ловкую, и легкую, но косолапую походку, однако это уже не способно было во мне что-либо изменить и хоть чуточку поколебать мое чувство. Это как у Шекспира:

Мои глаза в тебя не влюблены,
Они твои пороки видят ясно,
А сердце ни одной твоей вины
Не видит и с глазами не согласно.

Теперь главное было — верить. Верить, что любит, что не предаст, даже в мелочах, даже ради матери, верить, что не способен ни на какую, даже самую ма-

лую подлость. Очень, очень хотелось верить ему, верить в него! Если на какой-то миг подкрадывалось подозрение, сомнение в нем, мне становилось жутко, казалось, почва уходит из-под ног.

Вспоминается один разговор, который был для меня чрезвычайно поучительным.

Я позвонила из института. На этот раз мы решили ограничиться непродолжительной прогулкой. Максим ждал меня на трамвайной остановке где-то на середине пути от института до дома.

— Почему ты задержалась?

— Сдавали по английскому «тысячи». Я подготовила пьесу О. Уайльда «Женщина, не стоящая внимания».

— Знаю, очень хорошо помню эту вещь. Там интересный образ дипломата.

— Иллингворта? Да. Блестяще остроумный, очень светский, но дурной человек. Ты же помнишь, как он обошелся с женщиной?

— То, что он на ней не женился? В таких ситуациях и женщина виновата не меньше.

— Но он обещал на ней жениться, она доверилась ему! Она ушла, когда должна была родить.

— Его можно понять: он был еще молод и находился под большим влиянием матери.

— И ты мог бы так поступить?

— Не знаю.

Чего-чего, а прямоты и честности (в таком плане) у него не отнимешь. Ну что ж, честность тоже не последняя добродетель. Но я почувствовала, как во мне поселился холод.

При моем стремительном и весьма охотном погружении в состояние любви меня все же посещали сомнения, время от времени жизнь подсовывала мне вопрос: «А хороший ли он?»

Я где-то читала фразу, основная мысль которой сводится к следующему: человек думает, что женится только на своей возлюбленной. На самом деле он соединяется со всем ее кланом, со всеми род-

ственников. Он уже не может уклониться от разговоров о них, с ними, от участия во всех родственных делах и, наконец, от забот и помощи им. Максим демонстрировал явное безразличие к моим близким, почти неприятие их, делая исключение только для сестер. Он не скрывал, что тяготеет обществом мамы, тети Мани, моих двоюродных братьев и других родственников.

Но о своей родне он всегда говорил со всепрощающей улыбкой, как бы призывая и меня любить и восторгаться ими. Помню, приехала к ним в гости молодая пара — его двоюродная сестра с мужем. Сестра действительно была красавицей — высокая, отлично сложенная шатенка с веселыми серыми глазами и пышными каштановыми волосами. Но и муж был красив, безоговорочно, без всяких натяжек, а в устах Максима он иначе как «муженек» не назывался, причем иронически, а не ласково. По какой статье он им не подходил? Его фамилия была — Сапожников, а Максим так кичился фамилиями своей родни — Полонский, Фабрикантов, Дворянцев — как будто бы это уже само по себе их возвышало над теми, чьи фамилии, скажем, Кучеров или Перебейнос.

Меня Максим не познакомил с этим их новым родственником (как, впрочем, и с сестрой, хотя мы все одновременно были на концерте — тоже штрих), но я чувствовала к этому человеку симпатию, близость: мы оба были пришлыми и поэтому в их глазах другими, хуже. Правда, потом Максим пригласил меня домой, говорил, что дома много вкусного, что мы все вместе хорошо посидим вечером, но во мне еще не погасла обида, возможно, не хватило тогда простоты, но не исключено, что я опасалась новых унижений, и отказалась.

В круговорот любви волей-неволей были втянуты и мои родные. Маме и тете Мане Максим не нравился, но они были

предельно гостеприимны к нему, и думаю — он этого не почувствовал. А не нравился он по многим причинам. Ну, во-первых, он причинял мне страдания, они видели, и это было главное. Кроме того, он не был простым, доступным, родственным. И, в-третьих, мама считала, что он — скуп, и приводила много тому доказательств. Она говорила, что скупой муж — это живнь без улыбки, без праздников. Его ум, способности, перспектива под сомнение не ставились, но мне часто повторялось, что я никогда с ним счастлива не буду. И после того, как Максим сделал мне предложение, мама сказала: «Ты, конечно, поступай, как хочешь: если любишь, выходи за него. Но моей ноги в их доме никогда не будет». А тетя Маня вдруг неожиданно добавила: «И какие ужасные у него руки!»

Руки как руки — узкие, костистые, с узловатыми пальцами и тоже повернутые внутрь, слегка косолапые. Но я любила эти руки. Они были ухоженными, ласковыми, теплыми; может быть, слишком опытными. Но именно они, главным образом они сообщали мне его волнение, настроенность, они были искренними, говорящими. Волновали руки, голос со своеобразными модуляциями (в те годы по радио с передачами о музыке для детей часто выступал композитор Д. Б. Кабалевский, у него был редкий по тембру и интонациям голос, именно его мне напоминал голос Максима), да еще едва уловимый запах не то духов, не то сигарет, хотя он никогда не курил, и свежести, даже не запах, а так, чуть-чуть, исходящий от его костюма, волос. И потом, много лет спустя, случайное дуновение этого чуть-чуть выхватывало меня из семейной благополучной жизни и возвращало в те горько-счастливые времена моей юности.

После того дождливого осеннего дня, когда я приняла решение больше не бывать у них, внешне все как будто бы про-

должалось по-прежнему, мы регулярно встречались, но что-то было утрачено, не было радости. Максим все чаще со мной бывал замкнут, недоволен.

Как-то в выходной день мы условились встретиться в Эрмитаже, об этом давно говорилось. Да и погода в тот день не располагала к прогулкам, а дома... Ему не нравилось бывать у нас, я имела еще больше оснований противиться идти к ним. Единение было нарушено, назревала очередная размолвка. Мы переходили из зала в зал физически вместе, но душевно порознь, каждый сам по себе, молча. В зале Рембрандта к Максиму подошла молодая пара, внешне ничем не примечательные люди, но удивительно симпатичные своей дружбой, любовью (я это очень остро тогда почувствовала). Были какие-то вопросы, ответы. Уже прошли первые минуты, когда обычно представляют незнакомых людей, но Максим вел себя так, словно меня не было рядом. Обида горячей волной подкатилась к горлу, я повернулась и быстро пошла к выходу.

В раздевалке Максим догнал меня и, подавая пальто, холодно, с уверенностью в своей правоте, сказал: «Я не собирался с ними долго разговаривать». Мне казалось — если только я открою рот, то тучи слез, распиравшие меня изнутри, давившие на грудь, взорвутся ливнями, потоками, я не смогу их укротить. У меня было одно желание, один порыв — скорее уйти, уйти насовсем, не звонить больше (а это означало оборвать связь, так как телефон был только у него), не напоминать о себе, исчезнуть. И Максим принял мой вызов.

В этот тяжкий момент в моей жизни (как это ни смешно, ни парадоксально звучит) мне крупно подвезло — я заболела тяжелой формой вирусного гриппа, который осложнился затяжным острым воспалением носовых и лобных пазух с высокой температурой и тупыми головными болями, вытеснившими всякую другую боль. Целый месяц я провалялась в

постели, а когда поднялась — мне показалось, что я освободилась от главной своей болезни, что я могу жить отдельно, независимо от Максима, что все, терзавшее меня в последние месяцы, опустилось глубоко на дно. И я робко, суеверно радовалась выздоровлению.

Со дня нашей последней встречи прошло три месяца, ни разу случайно за это время я его не встретила и потому смело пришла с Лелей на фортепианный концерт в филармонию. Прогуливаясь в фойе, мы обсуждали распределение четвертого курса, через год мы заканчивали институт, и география страны нам была не безразлична. И тут во мне что-то опрокинулось — я увидела Максима, он шел навстречу со своей соседкой-пенсионеркой. Он не выглядел героем-победителем, скорее, наоборот: весь какой-то сникший, несчастный и, уж конечно, не праздничный, не парадный.

Мое первое движение, первое желание было — скрыться, сбежать. Как я себя все это время оберегала от мыслей о нем, от него самого! Как я боялась быть снова ввергнутой в то состояние, из которого с таким трудом выбракалась! Но он подошел, такой взволнованный, кроткий, виноватый, и во мне, как я ни сопротивлялась, опять что-то дрогнуло и заставило остановиться. Мы стали разговаривать так, как если бы не было этих трех месяцев молчания и только вчера мы расстались. Он подключился к обсуждению мест распределения и в какой-то момент, просунув свою руку мне под локоть, заговорил, как он один умел это делать — движениями руки, пальцев он говорил о том, что ему без меня плохо, что он раскаивается. Я снова утрачивала спокойствие, я раздваивалась: мне хотелось сказать, что сама извелась, что все забыла и все у нас будет хорошо. Этот порыв шел от чувства, а разум мне твердил, что так было уже много раз, что конца этому истязанию не будет и что

лучше нам больше не видеться. Я пыталась отстраниться, но он не отпускал меня. За что мне это новое испытание?!

Леля, придумав предлог, отошла, и Максим осевшим, каким-то чужим глухим голосом сказал: «Выходи за меня замуж».

То, что раньше много раз мне хотелось услышать, было сказано, но я не была счастливой, не чувствовала всей торжественности, всей важности момента. Во мне что-то надломилось, поколебалось, мне показалось, что все это не серьезно, не к месту и не ко времени. И как-то очень буднично, вяло, устало я спросила: «А где мы с тобой жить будем?» Иногда мне кажется, что более idiotский вопрос в ту минуту трудно было придумать, тем не менее, вопрос был не такой уж бессмысленный и, если подумать, даже логичный. Прозвенел звонок, и мы пошли к своим местам. Максим успел сказать, что проводить не сможет, так как обязан доставить домой соседку.

В течение этих полутора лет наши отношения развивались как бы циклично, кругами, по спирали вниз. Очередной круг начинался с предельной нежности, трогательной бережности, праздничности. Максим приходил ко мне на свидание, зажав в руке три-четыре цветка, чаще анютины глазки, сорванные в ящике под окном (если было лето), и это меня бесконечно трогало. Мы виделись едва ли не каждый день, во всяком случае, в начале цикла; ни в кино, ни в театр мы почти не ходили, общих знакомых, компании у нас не было, и потому чаще всего мы гуляли по городу.

«Вот посмотри и запомни этот дом, его построил в начале века интересный архитектор Лидваль. Чуть дальше я покажу тебе еще один его дом». (Это было на Кировском проспекте.) Проходя мимо Ленфильма, Максим продолжал меня просвещать: «Здесь раньше был увеселительный сад «Аквариум». Оказавшись однажды на Садовой улице, он показал

на угловой дом: «Смотри, это — Лишневский, начало века. Напоминает английскую готику». Гуляя по проспекту Максима Горького, мы говорили о М. Ф. Андреевой — мы оба дружно ей поклонились. Максим неожиданно замолчал, несколько секунд как будто бы следил за блужданием мысли по сложным лабиринтам ассоциаций и вдруг сказал: «До чего разнообразно талантлив был Горький!» В то время он читал «Клима Самгина».

Такое проявление Максимом своей образованности, разносторонности интересов срабатывало верно, оно словно подстегивало общий процесс его обожествления, который к тому времени уже шел во мне полным ходом. Меня и задевало, и восхищало, что и в вопросах литературы, искусства он сильнее меня, гуманитария по образованию. (Его специальностью была механика, я слушала его доклад в студенческом научном обществе, видела, как серьезно его воспринимали, знала, что он успешно сдал экзамены в аспирантуру.)

В конце концов неминуемо наступал момент (мы его называли «моментом отстранения»), когда появлялась усталость от такого однообразного времяпрепровождения, друг от друга. Еще продолжались долгие прощания на лестничной площадке, но постепенно Максим утрачивал внимательность, доброту, в нем обнаруживалось своеобразие и задевающее меня чувство превосходства.

Круг любви по обыкновению завершался словесным противоборством, в котором бывало больше раздражения, чем доброты и понимания. Он хотел, чтобы наши отношения были свободными, а я постоянно испытывала дефицит доверия, уверенности в нем. «Любовь должна быть щедрой, безоглядной (сам-то он оглядывался), ну, современной, наконец, — часто говорил он. — Ты несовременна в том смысле, что придержишься нравов отжившей старины.» А я наивно полагала, что если двое любят — они долж-

ны быть вместе открыто, законно. Я не считала, что современность — это и есть свобода, которая зачастую оборачивается свободой от ответственности и чувства собственного достоинства. Я продолжала верить, что есть и другая современность отношений, не упрощенных, не приземленных.

Современность. Ох уж это «многострадальное» слово! Применительно к технике оно однозначно: развитие техники должно быть на уровне требований времени, и то, что ушло — не вернется. Тут все ясно. То, что современно в моде (скажем, на одежду, предметы быта), тоже понятно, хотя не всегда для всех приемлемо. Но вот в области искусств много сложнее. Зачастую современное веяние (или отдельное произведение) на поверку оказывается случайным, однодневкой, а то, что создано много веков назад, живет и современно. Ценности искусства непреходящи, или это искусство, или нет (современное прочтение какого-либо классического произведения — да!). Еще запутаннее значение этого слова в области чувств, нравственности. Верность, скромность, доброта — это вообще архaisмы какие-то по мнению некоторой части «современных» людей. У них «современно» — это высшая похвала, ярлык, причисление к элите. А ведь на самом-то деле чаще всего слово «современно» в этом узком значении — легковесно, бездумно, безответственно.

Я полагала, да и сейчас думаю, что в этом стужбо личном, интимном, очень щепетильном вопросе не существует равенства в психологии мужчины и женщины. Так называемое вынужденное замужество (а это в житейском смысле не самый худший вариант) ставит женщину в зависимое положение, унижает ее (или это устарело?), привносит будничность, деловитость, а подчас и довольно обременительное сознание долга, обязательств (или это старомодно?). Ведь безграничность, безрасчетность в любви должна быть обоюдной, иначе кому-то одному из

двоих плохо (или это пронафталенинное ханжество?). Нет. Только не так. Только не принуждение. На такой ноте я не хотела начинать семейную жизнь. Вот если бы я соответствовала характеристике, данной мне его матерью («ума больше, чем надо»), то меня, наверно, это вполне устроило бы.

Мы были недовольны друг другом, и расставание, хотя бы ненадолго, на время, становилось необходимым.

Проходили дни, обиды если и не забывались, по крайней мере тускнели, заволакивались, вспоминалось только хорошее, и мы снова встречались. Начался новый круг любви, очень похожий на предыдущий, хотя и с некоторыми модификациями. Мне уже не верилось, что между нами надолго возможно согласие, нежность. И вот я снова стояла перед выбором — прекратить эту выматывающую, поработавшую любовь или начать сначала, еще раз попробовать, попытаться. Максим подал руку, вернее — предложил руку, теперь решать должна была я. После двухнедельных колебаний я сдалась, я позвонила. И начался наш последний круг любви.

Он пришел робкий, неуверенный, влюбленный, преданно смотрел мне в глаза и с благодарностью читал в них полное, окончательное прощение. Если бы он мог оставаться таким! Я со страхом думала, что эта идиллия — временная, что рано или поздно он снова превратится в чужого, эгоистичного, капризного. А пока он, похоже, наслаждался тем, что мы вместе, что он может раскрываться передо мной, говорить о своих планах и находить полное понимание. Но чаще мы говорили о сиюминутных пустяках, которые, тем не менее, казались нам многозначительными — ведь чего бы мы тогда в разговоре ни касались, мы все равно говорили о нас, мы утопали, растворялись в разлитой теплоте наших чувств, такое было с нами, пожалуй, впервые.

Мы не вспоминали наш короткий, по такой важный разговор в филармонии,

не вспоминали вслух, но помнили о нем. Только как-то раз Максим сказал: «Хочу хоть чем-нибудь быть похожим на Маркса, Маркс в двадцать четыре года женился». (Ему в это лето тоже исполнилось двадцать четыре года.) Я хорошо помню чувство, заполонившее тогда все мое существо — это бескрайняя теплота благодарности за реабилитацию доверия к нему, ибо нет ничего горше утраты веры в любимого человека. Мне это еще предстояло узнать месяцы спустя.

Я мысленно задавалась вопросом, поставил ли он в известность мать и какова ее реакция.

Стояли теплые ласкающие дни моих последних летних каникул. Сразу после сессии я устроилась на временную работу на завод, а в августе, по настоянию мамы, должна была отдыхать под Ленинградом. Максим часто звонил на завод, и мы договаривались о встрече. Помню, как однажды в отсутствие матери он попросил приехать к нему сразу после работы, сказал, что приготовит ужин и будет вкусно меня кормить. И я приехала действительно голодная, по оттого, что вокруг стола так трогательно суеился Максим, был раскрыт патефон, и Шаляпин своим неповторимым по выразительности голосом пел «Ох, если б навеки так было...», горло зажало, и я не могла проглотить ни куска, чем нимало его огорчила. Пока все было хорошо, почти безоблачно. Вот только...

В памяти вызывается ясный нежаркий июльский день. Мы договорились встретиться в Таврическом саду. Я немного припоздала, Максим ждал меня, был явно чем-то расстроен, но я чувствовала, что причина его подавленности — не мое опоздание, она серьезнее, глубже.

Я пыталась снять напряженность, отвлечь его и, оказавшись недалеко от дворца, стала быстро, может быть, слишком оживленно говорить: «Ты знаешь, что здесь была резиденция Суворова? Представляешь, зеркала завешивались, все украшения убирались, в спальне уст-

раивалась постель из охапки сухого сена на полу». (Все это я вспомнила еще не раз, когда летом 1968 года в Таврическом дворце проходил Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых. Для нашей рабочей группы переводчиков отвели светлую просторную комнату. Говорили, что именно она и служила спальней Суворову.) Максим слушал меня рассеянно, вполуха. «Что с тобой сегодня?» Он посмотрел на меня очень серьезно, помолчал и затем решительно сказал: «Пойдем к нам, к маме. Так надо». Я поняла, что у него дома состоялся разговор.

Тогда еще по-своему он пытался меня отстоять. Но и на этот раз меня встретил вежливый лед неприятия.

Я уехала в дом отдыха. Мы ни о чем не договаривались, но я надеялась, я была уверена, что он будет приезжать, ну, хотя бы раз навестит меня. Я ждала его каждый день, встречала с каждой электричкой, но он не приехал. Вернувшись в Ленинград, я позвонила, тревожась за него, но он был здоров, весел. При встрече сказал, что все дни проводил с товарищем и его сестрой, «очень хорошей девчонкой», и глаза его при этом предательски смеялись.

Я перестала звонить, избегала встреч. Он же стал приезжать неожиданно, днем, ненадолго, отучая меня от себя и себя от меня.

Так прошла тоскливая затянувшаяся осень. В декабре все еще продолжался дождь, небо было затянуто низкими тяжелыми тучами. Приближался Новый год. Максим сказал, что встретит его дома, с мамой.

Мы с Лелей были предельно заняты — сдавались последние зачеты и подкатывалась последняя экзаменационная сессия. О своих переживаниях я с Лелей почти не говорила, она и без слов понимала мое состояние. Но как-то раз, прервав занятия, она сказала: «Ты ведь нравишься его другу, почему бы тебе не по-

пытаться обострить его чувство ревностью?» Но все эти приемы, хитрости мне были противны (как, впрочем, и Леле тоже), этого человека, друга Максима, я уважала.

Максим позвонил моей подруге (у нее был телефон), чтобы узнать, как мы сдали экзамены. Леля сухо ответила: «Поразному». — «Но вы же одинаково все знали. Вы шутите?» И Леля, преисполненная злости и обиды за меня, решительно сказала: «Не только шутить, но и разговаривать с вами у меня нет желания». — «Сегодня?» — «Нет, вообще. Всегда.» Это был конец, и я была Леле благодарна.

После сессии Лелю ждали родственники в Москве, но мой заботливый дружок отказывался ехать без меня. Согласовать с ее родными оказалось делом пустяковым, но вот уговоры моей шепетильной родни существенно сократили и без того короткие каникулы. Мы, впервые приехавшие в Москву, познакомились с городом, посещали музеи, театры, наслаждались постоянным, круглосуточным общением — было у меня такое недолгое, но богатое, надежное и тихое счастье дружбы с ее удивительно чуткой, мгновенной настройкой на волну мыслей и чувств другого, с ежеминутно ощущаемой радостью взаимного понимания. Такое не бывает дважды в жизни, такое не каждому отпускается единожды и светит потом воспоминаниями до конца твоих дней. Я ношу в себе благодарность за то, что это у меня было, не обошло меня, но в те дни оставался в моем сердце еще один пласт, он каменно давил — тупая боль от предательства в любви не покидала меня. Не знаю, как бы я справилась со своими неприятностями, если бы рядом тогда не было Лели. Я не знала в жизни добрее и вернее ее. Лелька, Лелечка... Она украсила мою жизнь, наполнила ее особым теплом и духовностью. С ней не было кругов, было сплошное высокое чувство дружбы, и так горько сознавать, что ее нет, так несправед-

ливо рано вырвала ее из жизни болезнь!

Тогда еще я не знала стихотворения «Храни меня, прошедшая любовь», его не было, оно появится через три десятка лет, но по всплеску чувств, по точности совпадения ощущений, по силе звучащей во мне мольбы я написала бы его тогда, будь я поэтессой Риммой Казаковой. Пройдет время, и я справлюсь, освобожусь от душившей меня привязанности, обрету радость восприятия окружающей жизни; еще будут «облака, что не согнут мне плечи», «рука надежная и путеводная», но это потом, а тогда я заклинала, чтобы забылась «нежность, которой топят и превращают в нищих и рабов». И мне это стало удаваться — я перекрыла все каналы воспоминаний.

После окончания института мы разъехались. Я получила направление в город, расположенный на стыке трех украинских областей — Винницкой, Киевской и Черкасской. Мне там отлично жилось и работалось, но через год я переехала в Кузбасс, так как вышла замуж за горного инженера, доброго, цельного, ясного, приехавшего в свой родной город в отпуск. Меня полюбила его мать, вся его семья, что создавало очень благоприятный фон нашим отношениям.

Если счастье — это способность к определенному стилю жизни, то мне необходимо было эту способность в себе развить, этот стиль обрести. И я очень старалась. Были еще и потом в моей жизни периоды метаний и борений с собой, но тот жизненный этап закончился. Черта была подведена.

Я покидала Ленинград навсегда, покидала без сожаления, мне в этом лучшем из городов не было хорошо — счастье не зависит от географии. Я покидала Ленинград, чтобы поселиться в Сибири, которая стала моей судьбой, моим домом. Отныне я буду приезжать в Ленинград как гостя и, может быть, острее, чем ленинградцы, буду чувствовать единственность его облика и особую притягательность атмосферы, духовной среды. В

эти наезды мой город будет ко мне ласковым, щедрым, гостеприимным, всякий раз одаривая меня радостями встреч и узнаваний. Не принесут радости только две встречи.

С Максимом я увиделась через пятнадцать лет. Это произошло в парке имени Ленина напротив дома, в котором мы когда-то жили. Он много рассказывал о себе. Говорил, что роман с «очень хорошей девчонкой» состоялся уже потом, после того, как мы уже расстались, и продолжался недолго. Женился он через год после моего замужества, жена оказалась избалованной и не приученной ни к какому домашнему труду, он был близок к разводу. («И с женой можно развестись, с матерью никогда. Вот так».) Скандалы с женой и ее родными потрясали семью до тех пор, пока мать не свалилась с инсультом, после которого осталась инвалидом, и даже она с сожалением вспоминала обо мне. Я догадывалась о причине: моя неизбалованность и приученность к домашним работам. Что и говорить, великолепная, исчерпывающая характеристика!

За ту неослабевающую в течение двух лет борьбу против меня, за неуважение ко мне, которым она сумела частично заразить, пропитать не только сына, но и меня самое (ведь утратить веру в себя, пасть духом — это и есть та крайняя степень душевной слабости, которая граничит с самонеуважением), за все это я должна была бы ее возненавидеть. И даже если бы я и хотела пожелать ей отмщения, то большего зла, более сурового возмездия я не смогла бы придумать, ибо разве это не горе матери — видеть сына несчастливым, страдающим, на грани крушения семьи, разве это не горе — вдвойне сознавать, что в великой лотерее, называемой жизнью, она сама сознательно и собственноручно лишила сына билета, к которому он тяготел и который — как знать? — мог бы оказаться счастливым.

В былое время, возможно, моей любви

хватило бы на то, чтобы забыть о себе, о своей гордости, принять на себя его боль от несостоявшегося семейного благополучия, несбывшихся надежд, допущенных ошибок. Но на расстоянии пятнадцати лет, в течение которых было столько передумано и переосмыслено, я уже не находила в себе чувства, почти материнского по готовности понять, простить и помочь. Его исповедь я воспринимала с известной долей недоверия к стопроцентной виновности его жены и причинам его разочарований. И оттого, что сопереживание было неполным, меня оставалось еще на какие-то ассоциации, вклинивания литературных аналогий. Что-то давно читанное, виденное, отложившееся в глубинах памяти, появлялось и ускользало, и вдруг в какой-то момент ясно, отчетливо вспомнилось: «За огорчение, которое я Вам причинил, я был наказан жестоко: покойная жена моя сумела из моей жизни сделать непрерывную пытку». Сравнение, может быть, слишком сильное: и Максим — не Муров, и я — не Кручинина, да и ситуация объективно не столь драматична, как в пьесе «Без вины виноватые». Но желание убедить меня в том, что он совершил ошибку и достаточно настрадался, несомненно было.

Когда-то он не показал достаточно высокого «коэффициента надежности», как говорят в технике. Сейчас же он демонстрировал готовность к новому опыту, но уже с переменной знаков: на этот раз знак «плюс» предлагался мне, жене же отводился «минус». Как все легко и просто.

Сознания единственности чувства, вновь обретенного, не было. И его фраза: «Теперь-то я тебя не упущу» показала мне какой-то несерьезной, легковесной. Когда это имело смысл, он только и делал, что «упускал» меня. Была одна случайная мимолетная встреча через полтора года после разрыва. Закачивался мой первый учительский отпуск. Я шла на званый ужин к родственнице,

жившей неподалеку от Максима, и столкнулась с ним у ворот ее дома: он шел из гастронома, нес бидон с молоком. «Ты замужем? Я тоже нет», — успел он только сказать, как мы увидели его мать — возвращаясь с работы, она приближалась к нам. Максим замолчал, сердито сдвинул брови и посмотрел на меня очень серьезно и грустно, как уже однажды смотрел. Я поспешила распрощаться. Он не удерживал меня, ни о чем бодьше не спрашивал. Вскоре я вышла замуж. Что же теперь-то? Теперь уже поздно. Мы слишком долго уходили друг от друга и вот оказались безнадежно далекими.

Вера, уверенность, разувериться — все это слова одного корня, и каким удивительным образом они переиhrелись, как многозначительно взаимосвязаны! Когда поругана верность, душится, истребляется доверие, утрачивают весомость заверения.

Божество, которое я себе сотворила, исчезло, любовь кончилась, она изжила себя, обессочилась, ей нечем было питаться. Говорят, что любовь не имеет ничего общего с благодарностью, а как важно в любви иметь за что благодарить! Это продлевает ее век. Осталась лишь память о любви, она жила, болела, жгла. Память — это пожизненно, это до конца с тобой, она не зависит от превращений, которым подвергается твое чувство и твое бывшее божество, это — категория надежная, постоянная. Если любовь слепа, то память о любви зрячая, она учит мудрости.

Он еще пытался рассказать о связи с какой-то женщиной, расценивая это, видимо, как акт честности (хотя по его улыбке казалось, что он тщеславился), а возможно, и как свидетельство его внутренней свободы и готовности к новому нашему кругу. Но меня не радовал его разлад в семье. Отнюдь. С горечью и болью я подумала, что вполне могла бы быть его женой, и вот так же с какой-нибудь другой женщиной он говорил бы

обо мне. Я слушала его голос, а в памяти проносились отдельные картины нашего с ним прошлого и звучала музыка, фрагменты симфонии, которую мы когда-то вместе слушали. Вот удивительная по лиризму вторая часть — к горлу подкатывается спазматический ком; эту очищающую, возвышающую мелодию перекрывают грозные звуки — тема беспросветности, трагизма, и сквозь эту грозность звучит светлый победный финал, как преодоление темного, как утверждение смысла и энергии жизни, как обещание покоя и радости.

...Летом я приехала в Ленинград повидать маму, которой исполнилось восемьдесят лет, и дядю, отпраздновавшего свое семидесятипятилетие, оставившего кафедру в институте и с осени вступившего в новую должность профессора-консультанта. Эта перемена его угнетала, он страшился надвигающейся старости. Кроме родственных чувств, к нему и его жене я всегда испытывала теплую дружескую привязанность. Мы с сестрой и ее мужем поехали навестить их в Зеленогорск, где они уже много лет снимали дачу. Обед прошел, как всегда, в интересной беседе, но на этот раз как-то особенно легко и весело; перед чаем было предложено пройтись по парку.

Мы шли по направлению к пляжу, впереди мужчины, мы — на некотором расстоянии от них. Народу в это предзакатное время в парке почти не было, и потому мое внимание сразу приковал к себе человек, шедший нам навстречу и державший за поводок красивого черного спаниеля. Что-то во внешности этого человека (хотя он был еще далеко), в его походке и осанке насторожило меня, показалось знакомым. Я пристально посмотрела на него — нет, сходство ускользало. Но я уже не могла не вглядываться в него, не приемля, но и не отвергая догадки.

Если это Максим, то откуда столько

кожи на его лице, столько лишней кожи? Ведь он никогда не был полным! Кожа лба нависла над крупным носом, утопив и без того глубоко посаженные глаза; кожа щек опустилась, потянув за собой концы губ и изменив тем самым линию рта. Да и все выражение лица стало другим, неузнаваемым. Исчезли краски: не было яркости бледной кожи и на ее фоне блестящих темных глаз и волос, все стало каким-то стертым, темнопегим. Мне еще не доводилось встречать человека, изменившегося до такой степени. Все, что когда-то в его внешности лишь угадывалось, намечалось, с годами так властно проступило, так всевытесняюще, всезамещающе обозначилось. Вот уж действительно, чтобы не было погрешений, стариться надо вместе.

Я затрудняюсь сказать, сколько минут мы двигались навстречу друг другу, но эти мгновения казались необыкновенно растянутыми, как при замедленной съемке, а мысль работала с молниеносной быстротой. Впившись взглядом, отыскивая знакомые черты, я одновременно прокручивала кадры назад, вновь и вновь воспроизводила его лицо, увиденное в первые минуты и потом еще несколько раз. Я уже почти не сомневалась, что он узнал меня сразу, от неожиданности запутался в поводке, перешагнул через него один раз, потом еще другой, стал смотреть на меня с крайним изумлением, в углах его губ появилась едва заметная радостная улыбка, через некоторое время лицо стало серьезным, но он все еще продолжал упорно смотреть на меня.

Сестра тоже не могла признать в нем Максима, равно как и с определенностью отказаться от этого предположения. Мы обе рассматривали его, должно быть, с испугом, как смотрят на тяжело больного человека. Задержав взгляд на мужчинах, он сердито и печально опустил голову. Когда-то густые своенравно вьющиеся волосы теперь свисали прямыми покорными прядями, и было что-то груст-

ное в схожести двух опущенных голов — длиннотухой головы спаниеля и некогда гордой головы его хозяина.

Его согнуло в пояснице, он казался меньше ростом. В плечах стал шире, но плечи развернулись вперед, как бы образуя линию полукруга, что еще больше подчеркивало его медвежью осанку. Во всем его облике появилась какая-то сила, мужичинистость (в противоположность понятию «женственность») и что-то еще, что можно было бы условно назвать словом «дремучесть». А когда-то он был тонкий, прямой, одухотворенный.

Продолжая вглядываться, я подумала, что с момента нашей последней встречи прошло восемнадцать лет. Чем отмечено для меня прошедшее время? Это были годы, наполненные интересной работой с частыми поездками по стране и даже за рубежом: как бесценный подарок судьбы запомнилась работа на международном конгрессе в Париже и ФРГ. Несколько стран повидала в качестве туриста. Переехав в областной город, сыграла свадьбу обоим дочерям, стала трижды бабушкой; отметила пятидесятилетие свое и мужа, и вот уже приближаюсь к черте, за которой начинается то, что именуют заслуженным отдыхом, или, как мне представляется в минуты черной меланхолии, медленное прощание со всем, что дорого в жизни.

Наряду с веками внешнего благополучия за эти два десятка лет было много тяжелого: болезни, главным образом мужа (инфаркт, травма в автомобильной катастрофе, после которой он больше полугода возвращался к жизни); друзей теряла чаще, чем приобретала новых, знала и невосполнимые утраты; бывало физически трудно, когда появлялись внуки, а дети-студенты, жившие с нами, должны были заканчивать институт. В общем, прошла целая жизнь с ее радостями, горестями, долгими периодами крайнего напряжения и редкими короткими паузами отдыха.

А чем для него были эти годы? Восем-

надцать лет тому назад он готовил докторскую диссертацию, в этом плане я продолжала в него верить и не сомневалась, что он ее защитит. Думаю, что были путешествия и связанные с ними радости. А что жена, дочь? Нашел ли он в семье счастье?

Вот он, глядя на асфальт дорожки, разминутся с нашими мужчинами и, почти сравнившись с нами, овладев собой, поднял голову, устремив взгляд прямо перед собой. И, хотя по мере приближения я уже стала привыкать и узнавать его, только сейчас, увидев его глаза, окончательно убедилась, что это был Максим. Одновременно раздался голос сестры: «Он. Это он».

Весь в какой-то внутренней натянутости, напряженности, подстегнутый волнением, замешанным на радости, нежности и вместе с тем обреченности, не скрывая этого волнения, Максим все же (гордость важнее!) продолжал смотреть поверх наших голов. «Ну, что ж, — подумала я, — пусть будет так». — И уткнулась взглядом в спины шагающих впереди мужчин. Мы прошли мимо, не безразличные, не равнодушно-чужие, более того, потрясенные встречей, но не пожелавшие сделать первый шаг. Все это было бы понятно, может быть даже романтично, когда бы не было так печально и глупо. Мы оберегали свое болезненное, воспаленное самолюбие, как будто бы в нашей уходящей жизни оно — самая большая ценность. Истинные же ценности мы не сумели сберечь.

Как все непросто на этой земле людей! Как все перетасовано, смещено, перепутано местами! С чем-то придуманным, несущественным, наносным мы обращаемся в высшей степени бережно, а настоящим, может быть, жизненно важным пренебрегаем, считаем невозможным говорить о нем, стесняемся быть искренними, естественными. А ведь жизнь наша — неповторяема, до обидного краткосрочна и быстротекуща. Отсюда столько в жизни несовершенных добрых поступ-

ков, неразрубленных узлов недоразумений, упущенных, недоданных радостей, столько ошибок, непониманий, драм.

Кто знает, кто с уверенностью может сказать, какое рыдание сильнее — то, которое навзрыд, со слезами, или невидимое, неслышимое, не вырвавшееся наружу, спрятанное от посторонних и скрутившее болью от загубленности прекрас-

ного, которое не смогло раскрыться в радости, от обмана, таившегося в половинчатости, раздвоенности чувства, от испуга и скорби, навеянных встречей с потусторонней молодостью?

Я сознавала, да и он, наверное, тоже, что другой встречи может уже не быть, что эта — последняя, и тем не менее...

ИЗДАНО В КЕМЕРОВЕ

Л. А. Сенека. «Нравственные письма к Луцилию»

«...Едва захочешь узнать, — смотри на цель всей твоей жизни: с ним должны согласовываться все твои поступки. Только тот и распоряжается всем в отдельности, у кого есть в жизни высшая цель... жизнь по частям обдумывают все, а целиком — никто... Наилучшее средство достичь блаженной жизни — это убеждение в одном: только то благо, что честно.

В чем полная свобода? В том, чтобы не бояться ни людей, ни богов; чтобы не желать ни постыдного, ни лишнего.

Опьянение — не что иное, как добровольное безумье. Пьянство и разжигает, и обнажает всякий порок, уничтожая стыд, не допускающий нас до дурных дел. У спесивого растет уванство, у жестокого — свирепость, у завистливого — злость; пьяный не помнит себя, слова его бессмысленны и бессвязны, глаза видят смутно, ноги заплетаются, голова кружится так, что крыша приходит в движение и весь дом словно подхвачен водоворотом.

Велика ли слава — много в себя вмещать? Когда первенство почти что у тебя в руках, и спящие вповалку или блюющие сотрапезники не в силах поднимать с тобою кубка, когда из всего застолья на ногах стоишь ты один, когда ты всех одолев, и никто не смог вместить больше вина, чем ты, — все равно тебя побеждает бочка.

...От непрестанного пьянства становится свирепой душа. Когда она часто не в себе, то пороки, укрепленные пьянством, возникнув во хмелю, и без него не теряют силы.

Оставь поиски почестей — это вещь спесивая, пустая и непостоянная, ей нет конца, она всегда в тревоге, не видно ли кого впереди, нет ли кого за плечами, всегда мучится завистью.

Нужно посмотреть, учат ли наставники добродетели; если не учат, то им нечего преподавать; если учат, то они философы.

Лишь одно делает душу совершенной: незыблемое знание добра и зла.

Это — фрагменты книги древнего философа, в Кемерове она вышла вторым — на русском языке — изданием. В своих письмах Сенека касается многих жизненных вопросов, актуальных и поныне.



Владимир Каганов

МОИ ДАЛЕКИЕ РЕБЯТА

Провинциальные пенаты,
Мои далекие ребята,
Наивный пыл прекрасных лет...
Хочу я вспомнить добрым словом
Своих товарищей веселых,
Тех лет неповторимый свет.

Еще мы были очень юны,
Еще не отзвенели струны
Надежды, веры и мечты.
Еще так нежно мы любили,
Еще так мило мы шутили,
Еще не знали пустоты.

И Генка, в живопись влюбленный,
И Борька, скептик утомленный
В свои неполных двадцать лет,
И Алька, наш правдоискатель,
И Юрка, пламенный мечтатель,
И Александр, наш поэт.

Еще какой-то отблеск школьный
Ложился на союз наш вольный
Своим целительным крылом.
И были пылки наши споры,
И неподдельны разговоры
О жизни, о борьбе со злом.

Осенним вечером погожим
Березы, тонкие до дрожи,
И городские тополя
Светили нам неярким светом
Прощально гаснущего лета,
Листву вдоль берега стеля.

И так свободно нам дышалось,
Хотя недолго оставалось
Бродить по дорогим местам.
И ветер реющей разлуки
Еще не остудил нам руки,
Еще сияло солнце нам!

И улыбались нам девчонки,
И мы шутили им вдогонку
И шли потом их провожать.
И птиц осенних караваны
Еще не обнажали раны,
Которых больше не унять.

ПРИМОРЬЕ

Дождь льет и льет все чаще и звончей
На папоротник, рощу и ручей.
Ольшаник, ясень, дуб и сухостой
Покрыты теплой пылью дождевой.

Вершины сопок скрыл густой туман.
Туман дождя клубится над рекой.
Вдали туманом дышит океан,
И лес исчез под влажной пеленой.

В такие дни теснее жизни круг.
Единое дыхание дождя
Врачует затянувшийся недуг:
Раздвоенность души и бытия.

Душа людей, деревьев, птиц и трав,
Припав к истокам музыки живой,
Вновь постигает суть извечных прав
И тайну тихой жизни мировой.

И что же значишь ты, моя печаль?
Жалею ли о том, что, уходя,
Родимая мерцающая даль
Растает с теплой музыкой дождя?

Главную задачу своей культурной политики партия видит в том, чтобы открыть самый широкий простор для выявления способностей людей, сделать их жизнь духовно богатой, многогранной. Добиваясь радикальных перемен к лучшему и в этой области, важно построить всю культурно-воспитательную работу так, чтобы она все полнее удовлетворяла духовные запросы людей, шла навстречу их интересам.

Из Политического доклада ЦК КПСС XXVII съезду
Коммунистической партии Советского Союза

Борис Синявский

КОГДА УМОЛКНЕТ ДИСКОТЕКА?

Фраза из популярной песни, став заголовком, приобрела вопросительную интонацию не случайно. Так ее произносят многие. Одни с раздражением (когда она умолкнет, наконец), другие с тревогой (неужели все-таки умолкнет?). У дискотеки есть яростные противники, есть и преданные поклонники, но вот что любопытно: и опровергают, и защищают в основном на уровне «мне не нравится» или «мне нравится». Как ни парадоксально, но многие из тех, кто берет на себя смелость оценивать это явление, не в состоянии порой даже ответить на простой, казалось бы, вопрос — что такое дискотека?

А и действительно — что же это такое? Что скажут по этому поводу словари? До недавнего времени ничего они не говорили. Довольно странная была ситуация — само понятие существует, есть и слово, которым оно обозначается, но слово вроде как незаконнорожденное, нигде не закрепленное нормативно. Впервые признали его в двух последних изданиях «Словаря иностранных слов», а чуть позже — в словаре-справочнике «Новые слова и значения» (М.: Русский язык, 1984). Читаем: Дискотека — 1. Хранилище, собрание грампластинок,

дисков; 2. Молодежный клуб с культурно-просветительной программой, использующий высококачественные музыкальные записи. Понятно, что ни клуб, ни хранилище умолкнуть (смотри заголовок) не могут, значит, существует еще одно значение. Догадка наша совершенно правильна, и дискотека — чаще всего хорошо записанная фонограмма, под которую танцуют.

Итак, существуют три понятия, каждое из которых, если присмотреться повнимательнее, очерчивает свой, специфический круг проблем.

КРУГ ПЕРВЫЙ — СОБРАНИЕ ГРАМПЛАСТИНОК

По сути — это просто коллекция. В основе своей ничего ни предвещательного, ни тревожного увлечение это в себе не несет. Даже напротив, как и любое увлечение, которое требует знаний и определенной самоотдачи, приносит ощутимую пользу. В журнале-бюллетене «Мелодия» часто можно встретить просьбу, обращенную к собирателям старых пластинок — предоставить свои собрания для переиздания. Именно благодаря подобному содружеству мы получили возможность приобрести в магазинах

долгоиграющие диски с записями Шаляпина, Вертинского, Утесова, Паниной.

Проблемный круг очерчивается в тот самый момент, когда к короткому существительному «диск» добавляется выразительное и многозначное «фирменный». Казалось бы, пустяк, но при этом, при добавлении слова «фирменный», мы уже имеем дело совсем с иным явлением, уже не просто и не только коллекционированием. Те люди, к которым обращается с просьбой журнал «Мелодия», почтенны и обстоятельны, чаще всего они имеют за своими плечами солидный возраст, фирменные же диски собирает в основном молодежь, и таких собирателей значительно больше. Именно о них мы и поведем речь.

Коммуникации между странами и народами чрезвычайно развиты, это одна из характерных особенностей нашего времени. Научно-технический прогресс уничтожил, стер препоны, преодолевать которые раньше было чрезвычайно сложно. Каждый образчик массовой музыкальной культуры имеет теперь место рождения, но лишен постоянной прописки — радио, телевидение, но более всего грампластинка разносит новинку по всему миру, легко пересекая при этом границы — как географические, так и социальные.

В начале века социальные рамки для музыки были не менее строги, чем границы географические. Дочь богатого помещика исполняла перед своим женихом романсы, аккомпанируя себе на фортепиано. В это же время крестьянская молодежь веселилась под гармонь и частушки. Параллельно, в другом полушарии, темнокожая беднота Америки создавала джаз. У каждой нации, у каждого социального слоя была своя музыка. Теперь все иначе — Челентано сегодня выпустил плантинку с новой песней, завтра ее поют в Париже, Нью-Йорке и Москве. Национальный колорит остался, но из защитной брони он превратился в рекламную упаковку. Теперь колорита этого ровно столько, сколько надо, чтобы и привлечь, и быть достаточно космополитичным, понимаемым во всех уголках земного шара. Нынче в популярном музыкальном творчестве вопрос поставлен так — не кто талантливее, а кто разворотливее. К большому нашему сожалению, разво-

ротливее оказались так называемые дельцы от шоу-бизнеса. Они чутко уловили конъюнктуру, понастроили студий звукозаписи, заводов по изготовлению «музыкальных консервов», и покатались блестящие конверты повсюду. Закатились они и в нашу страну, причем как раз в том количестве, чтобы породить и коллекционирование, и проблемы. Фирменных пластинок достаточно много, чтобы они могли являться предметом собирательства, но их достаточно мало, чтобы собирательство это не было легким делом, чтобы каждая единица коллекции ценилась и оберегалась. Купить фирменные пластинки в наших магазинах невозможно, приобретаются они совершенно другими путями, довольно сомнительными.

Необходимо пояснить, что фирменные пластинки — это те, что выпускаются ведущими звукозаписывающими фирмами Запада. Именно Запада, капиталистическими странами. Ни по содержанию, ни по оформлению они, к сожалению, не имеют ничего общего с подобной продукцией нашей страны, большинства социалистических стран. Придавая своему товару привлекательный вид, «фирмачи» ставят перед собой далеко идущие цели. Вопрос ставится так: молодежь планеты должна слушать, петь и знать только ту музыку, что рождается на студиях «Полидор» (ФРГ), ЭМИ (Великобритания), «Колумбия» (США). И ведь успехи есть в этой работе. Признаваться в этом неприятно, но многие наши подростки без запинки назовут все альбомы (по годам их выпуска!) группы «Пинк Флойд», но не скажут, в какой опере, в какой партии пел Федор Шаляпин. Не менее интересно прислушаться и к тому, под какую музыку выплясывают в праздничные вечера в миллионах квартир нашей страны. Начиная примерно с 1977 года танцуют под «диско» (Бони М, Арабески, Чилли, Липпс Инк, Донна Саммер и т. д.), а в восьмидесятых — еще и под итальянцев (Челентано, Гагларди, Фольи, Кутуньо). Лишь время от времени вклиниваются в этот поток такие, как Алла Пугачева («Делу время, делу время...»), Леонтьев («Все бегут, бегут, бегут...»), Мяги («Спасите, спасите, спасите...»). При всей своей кажущейся невинности симптом этот довольно тревожный. Подмена нацио-

нальной популярной музыки наносной, привозной, превращение второй в чуть ли не единственную, во всяком случае, в главенствующую, чревато размыванием очень важных как эстетических, так и нравственных принципов. В этом плане очень серьезных упреков заслуживают те, от кого зависят судьбы так называемых «легких жанров». Наивно полагать, что молодежь поменяет свой вкус в угоду вкусу нашему, наивно полагать, что она станет умиляться, слушая певцов и песни нашей молодости — а именно подобное «развлечение» и рекомендуют по большей части радио, телевидение и фирма «Мелодия». Считай, уже два десятка лет на грани старого и нового годов телезрителям предлагается программа «Песня (номер года)», и не надо быть очень проницательным, чтобы отгадать, какие песни прозвучат в очередной раз и кто их будет петь. Существует с десяток «телепевцов», которые почему-то олицетворяют собой всю нашу советскую эстраду. Если же анонсируется концерт артистов зарубежной эстрады, то заведомо ясно, что на голубом экране появится Карел Готт. Певец хороший, но мыслимо ли слушать его бесконечно?

Однажды кто-то придумал коварную фразу «идти на поводу». Ее применяют обычно тогда, когда надо, оправдывая собственную бездельность, приподнять при этом себя. Оказывается, что когда мы не имеем добротных развлекательных программ для молодежи, то этим самым мы не идем у нее, у молодежи, «на поводу». То же самое мы делаем и тогда, когда выпускаем пластинки с заведомо устаревшими песнями (работники специализированных магазинов многое могут рассказать на тему о том, как трудно сейчас продать пластинку). Словом, «на поводу» мы не идем, но идет ли на нашем «поводу» молодежь? Далеко не всегда. Случается, что ее ведут совершенно другие, опасные люди, но кто дал нам право пустить на самотек формирование вкусов и интересов подростка, кто дал нам право устраниваться от его эстетических запросов?

Первое значение слова «дискотека» очерчивает тот круг проблем, в который не рискует пока входить никто — ни средства массовой информации, ни работники культуры, ни представители комсомола.

Тяга молодежи к современной звукозаписи — данность. Тем, что мы оставляем этот вид коллекционирования без своей помощи (читай: «без присмотра»), мы делаем хуже себе же. Наши западные идеологические противники не прошли мимо этого увлечения советской молодежи. В дискотеках Кузбасса до сей поры можно слышать композиции в исполнении американской группы «Кисс», которая прославилась тем, что пропагандирует самый яркий фашизм. «Кисс» в оформлении пластинок, концертов использует фашистскую символику. В частности, две последние буквы ее названия выглядят так же, как и эзэсовские руны (сдвоенная молния). Из-за этого члены группы имели неприятности даже в такой стране, как ФРГ. Они собрались туда на гастроли, но получили уведомление генерального прокурора о том, что как только они со своими «молниями» пересекут границу ФРГ, так будут арестованы за пропаганду запрещенных знаков. Руководитель группы Пол Стенли возмутился:

— Что из того, что господин Гитлер использовал те же письменные знаки, что нравятся и нам? Мы не изменим почерк ни за какие деньги. Гитлер не любил слюнтяев, мы с ним солидарны.

А вспомните западногерманский ансамбль «Чингисхан». В течение целого года мы отплясывали под его музыку, прежде чем остановились и прислушались. Оказалось, что русского человека в песнях «Чингисхана» носят последними словами — а чего еще ждать от музыкальных наемников, которые успели предать свою социалистическую родину (Венгрию), отличиться в расистских преступлениях? Пример с «Чингисханом» достоин самого пристального изучения. Нечистоплотные люди ловко использовали нехватку в СССР отечественной танцевальной музыки, быстренько подладили славянские мотивы под «заводное диско», и — отравля готова. Как было не заплясать под чингисхановский «Казачок», если он начинается мелодией всем нам дорогой «Катюши»? И заплясали, не сообразив даже, что в год 600-летия битвы на поле Куликовом отламываем коленца под музыку ансамбля, носящего имя истязателя земли русской. Недопустима сама мысль, что в год 40-летия Победы мы

стали бы отплясывать под ансамбль с названием «Гитлер», но не потому же, что горе Великой Отечественной ближе к нам исторически, чем трагедии русских парней из воинства Дмитрия Донского! В памяти нации не должно быть и намека на забвение.

Примеров подобных идеологических диверсий можно приводить много, самое же страшное заключается в том, что стрелы порой достигают цели. Звучала в наших дискотеках и песня ансамбля АББА, в которой говорится, что в мире есть лишь одна реальная ценность — деньги, и композиция группы «Вилилж пипл», прославляющая службу в американской, да и вообще в любой наемной армии.

Выгнать подобные «песенки» из дискотек не так и сложно, но вот что делать с тем, что в личных собраниях до сей поры хранятся диски и «Чингисхана», и «Кисс»?

Мы не можем оказать подростку помощь в формировании его коллекции, поэтому он не послушается, когда мы скажем: «Это оставь, а это выбрось». Не послушается потому, что мы для него не авторитет, и потому, что в свое время очень дорого заплатил за каждую пластинку. Фирменный диск стоит от тридцати до ста рублей. Откуда молодежь берет такие деньги? Это как раз одна из главных проблем в том круге, в котором мы пытаемся разобратся. Приобретенная по высокой цене пластинка «оправдывается», то есть с нее, за деньги, конечно, делаются магнитокопии всем желающим. Подросток становится причастным к сфере так называемой фарцовки, отсюда и внимание к нему со стороны карающих органов.

В среде меломанов устанавливаются настоящие волчьи законы. Всё за деньги. Продаются пластинки, магнитокопии, рекламные плакаты, переводы из специальных журналов. Дело доходит даже до того, что взимаются деньги за право переписать с конверта пластинки имена исполнителей, тексты песен. Надо ли объяснять, что это только обрадует идеологических наших противников — если в среде советской молодежи будет процветать атмосфера купли-продажи.

Что же делать? Не допускать в нашу страну ни одну пластинку «оттуда»? Запретить «не

нашу» музыку везде и навсегда? Мало того, что запретный плод всегда слаще, но ведь этим мы оградим себя от действительно хорошей музыки, которая есть, и не в малых количествах, на тех же фирменных пластинках. Зачем мы будем себя обеднять? Безусловно, следует выплеснуть грязную воду, но так, чтобы при этом сохранить ребенка. Подростков, которые увлекаются современной музыкой, не надо отталкивать, напротив, их надлежит собрать вокруг себя.

КРУГ ВТОРОЙ — МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛУБ МОЛОДЕЖИ

У филателистов есть свое общество, есть даже печатный орган, взаимоотношения этих коллекционеров довольно жестко регламентированы. Ничего подобного нет у меломанов. Возникшие не так давно молодежные музыкальные клубы (диско клубы) имели своей целью как-то решить эту проблему, собрать воедино любителей с тем, чтобы и помочь им, и повлиять на них.

«Закоперщиком» поручено было выступить комсомолу, и он рьяно взялся за дело. Первичный энтузиазм этот, помимо всего прочего, возможно объяснялся и тем, что довольно простым способом рассчитывали решить проблему организации досуга молодежи. Для некоторых комсомольских работников самым пугающим словом из всего великого лексического запаса русского языка стало неведь откуда прилетевшее слово «явка». Чего греха таить — далеко не каждое массовое мероприятие, организуемое комсомольскими комитетами, молодежь посещает охотно. На дискотеку пошла. Поначалу. Позже, когда выяснилось, что за вывеской дискотеки может прятаться рядовое действо, молодежь начала осторожничать.

Как только выяснилось, что дискотеки требуют не меньшего внимания, чем иное другое дело, а возможно и большего, так многие комитеты комсомола охладели к ней. В результате сегодня лишь в Кемерове, Новокузнецке, Юрге да Прокопьевске имеется хоть какой-то опыт. Деятельность диск-жокеев, обосновавшихся в остальных городах области, проконтролировать и направить не может никто. Ком-

сомольские работники, которым поручено заниматься дискотеками, в большинстве случаев необходимой суммой знаний по этому вопросу не обладают. Именно поэтому они вполне могут и сами лихо отплясывать под песенки той же «Кисс». Инструктору райкома комсомола никто не вменял в обязанность знать, чем характеризуется творчество ансамбля «Дип Пепл» и что вызвало кризис в деятельности «Битлз», и он со спокойной совестью этого не знает. Комсомольскому работнику потребовалась помощь. Таким образом, создание специальных объединений, которые сгруппировали бы всех, кто компетентен в этом вопросе и которые могли бы квалифицированно направлять деятельность дискотек, оказалось настоятельным требованием времени. И они были созданы, но лишь в крупнейших городах области — Кемерове и Новокузнецке.

Для того чтобы проиллюстрировать тезис о необходимости самого серьезного внимания к музыкальным молодежным клубам, расскажу о Всероссийской творческой лаборатории по изучению опыта и перспектив деятельности дискотек, выездное заседание которой прошло летом 1981 года у нас, в Кемерове. Если быть откровенным, то за громким названием стояло обычное мероприятие — от трех областей (Кемеровской, Томской, Новосибирской) и двух краев (Красноярского и Алтайского) прибыли представители, показали с бору по сосенке собранному жюри программы своих дискотек. Потом прошло обсуждение. Об уровне изучения опыта и перспектив может говорить то, что большинство членов жюри вообще впервые встретились с дискотекой. Не случайно чаще всего при обсуждении звучал вопрос: а дискотека ли это?

Ответ на этот вопрос — что же это за штука такая, дискотека? — творческой лабораторией дан так и не был. Может, именно поэтому заседание 1981 года явилось первым и последним. Видимо, те, от кого зависела ее судьба, решили, что вопрос исчез. И это более всего напоминает позицию **страуса**.

Тот памятный просмотр показал, что дискотечное движение — штука обоюдоострая. Была там, например, программа «Гибель диско», которую привезли из Норильска. Она являла со-

бой откровенную пропаганду западного образа жизни. А ведь ее не готовили специально для кемеровского просмотра, то была «живая», работающая у себя дома программа. Пять раз в неделю выходила она на молодежную аудиторию. И еще любопытная деталь — на кемеровский просмотр попала она не сама по себе, но специальная комиссия, составленная из ответственных работников Красноярского края, предварительно просматривала ее и рекомендовала для зоны. Вот к чему приводит некомпетентность.

Многие дискотеки взвалили на себя непосильную просветительскую миссию. Руководители музыкальных клубов посчитали своим долгом заполнить информационный вакуум, который по отношению к западной развлекательной рок-музыке объективно существовал в нашей стране. В связи с этим стали создаваться программы о творчестве тех или иных музыкантов, коллективов. Были показаны подобные программы и в рамках творческой лаборатории.

Авторы их понимали, что ограничиться лишь рассказом о творческом пути какого-либо английского певца они не имеют права. Следовало дать грамотную оценку творчеству и, что гораздо сложнее, определить данную личность в политическом контексте. Сами себе определив социальный заказ, многие руководители дискотек шли против своего личного мнения, а часто и против объективности, что, разумеется, приводило к безликости, необедительности, в конечном счете — к провалу программы.

Говоря, например, об американском рокере Элвисе Пресли, подчеркивали, что он был совершенно бездарен в музыкальном отношении. Сами же знали, что это неправда, неправда эта подчеркивалась и тогда, когда начинала звучать фонограмма и лился великолепный бархатистый голос певца. Знали, что лгут, но тем не менее говорили. Можно ли было при этом кого-либо убедить?

Было бы несправедливым относить подобную нелепицу лишь на счет руководителей дискотек. Те учились у профессиональных журналистов и музыковедов. Обратимся к примеру английского ансамбля «Битлз», к тому, как о нем писали в наших газетах и журналах.

В период, когда ансамбль этот находился в зените славы, в нашей прессе его творчество рисовалось в самых уничижительных тонах. Никто не потрудились сделать грамотный профессиональный анализ их творчества, поступили проще — разом и не глядя перечеркнули все, созданное четверкой молодых парней из Ливерпуля. При этом, разумеется, было заявлено, что они являются выразителями интересов правящего класса, что они отвлекают западную молодежь от активной политической борьбы. То ли забылось, то ли намеренно не принялось во внимание то, что парни из «Битлз» имеют самое что ни на есть пролетарское происхождение, что они своими песнями говорят о самых жгучих проблемах Запада. «Битлз» запели такие песни, как «Власть народу!», «Дайте миру шанс!», «Верните Ирландию ирландцам». Они резко осудили американскую военную авантюру во Вьетнаме, разошлись во мнениях с руководителями как английской, так и католической церкви, они собрали вместе ведущих рок-певцов Запада и записали пластинку, вся выручка с которой пошла в фонд помощи народу Бангладеш, они, в конце концов, явились зачинателями движения «Рок в борьбе за мир». Плюс ко всему музыка их оказалась удивительно человеческой, народной и богатой по содержанию — ныне ее исполняют даже камерные оркестры.

Когда же все это стало очевидным, когда уже распался и сам коллектив и каждый из четверки пошел своим путем, «прозрела» и наша критика. «Битлз» начали совершенно неумеренно хвалить. Complimentary тон достиг предельной высоты, когда в Нью-Йорке был выстрелами убит в упор неким Марком Дэвидом Чепменом один из знаменитой четверки — Джон Леннон. По некоторым публикациям, появившимся в наших газетах после этого трагического события, можно было заключить, что Леннон едва ли не революционер. На памяти знатоков музыки статьи, в которых тот же Леннон рисовался выразителем самых негативных явлений, и тут же дифирамбы ему, как борцу за социальные свободы. Так где же правда? Как ни странно, ни там, ни там. Леннон, конечно же, талантливый музыкант, конечно же, он был наделен чувством социальной

совестливости, но рисовать его на этом основании революционером — увольте. Позиция эта по меньшей мере невежественна, и вред ее станет еще понятнее, если учесть, что руководители дискотек подняли и без того безудержный тон на совершенно уж немыслимую высоту. Да, Леннон вырос в бедной рабочей семье, но к концу жизни он был миллионером и, хотел он того или нет, но являлся своеобразным символом западного образа жизни. Леннон — стопроцентный продукт общества, в котором он формировался как личность, и именно так, трезво, его и надо воспринимать. Надо отдать должное, но не приписывать того, чего никогда не было да и не могло быть.

Приступая к любому делу, надо иметь в виду, что в жизни нашей нет ничего такого, что оценивалось бы только положительно, что давало бы лишь положительный эффект — все зависит от ситуации, от подхода. Собственно говоря, знак «плюс» есть не что иное, как два минуса, которые взаимно перечеркнули друг друга. В дискотечном деле, как мало в каком ином, надо уметь из минусов соорудить плюс. Чаше всего авторы тематических программ, особенно тех, что выносятся на обсуждение, стараются создать пропагандистское зрелище, используя записи все с тех же фирменных дисков и слайды, изготовленные с фирменных же рекламных плакатов. Нетрудно догадаться, что ни создатели фонограмм, ни авторы реклам не ставили перед собой цель — развенчать буржуазный образ жизни. Как раз напротив — образ этот они всячески и очень умело пропагандируют. И вот созданную руками профессионалов продукцию берут для работы любители. Очень часто это напоминает спички в руках неразумного ребенка.

Идеология — то самое поле боя, в котором не бывает ни холостых выстрелов, ни промахов. Каждый заряд попадает в цель, но беда в том, что неопытный идеологический работник похож на слепого стрелка — он может ранить как раз того, кого пытался оборонить. Один новосибирский райком комсомола представил программу «Кто ты, ровесник?» Мысль в основе своей была интересная и плодотворная — показать социальные преимущества, которыми располагает советская молодежь по сравнению

с молодежью Запада. Отчасти программа эта предвосхитила собой популярную сегодня передачу Центрального телевидения «Мир и молодежь», но единственно по поставленной задаче. Авторы московской программы ищут и находят в нашей стране чрезвычайно интересные адреса, рядом с которыми довольно убедительно выглядит рассказ о тупике, в который загнали своих детей финансовые и политические воротилы Запада.

Как же проводилась та же самая параллель в программе из Новосибирска? Отечественные примеры члены дискотеклуба искали сами, брали их из окружающей жизни, а зарубежные — из материалов, которыми нас снабжают корреспонденты ТАСС, центральных газет. Сочетание самодеятельного и профессионального материалов сыграло злую шутку. О нашем парне устами ведущего было рассказано до обидного мало: родился, учился, закончил, женился, пошел работать. Что называется — без проблем. Самый настоящий новоявленный Митрофанушка с мотором. Зато как выгодно смотрелся на этом блеклом фоне западный парень! Настоящий борец! Он и участник антивоенных демонстраций, он и право на труд отстаивает горячо и страстно, да и вообще — он личность целеустремленная. Рассказ иллюстрировался великолепными документальными фотографиями, напористой, выразительной музыкой. Перечеркнуть минус минусом не удалось. Неумело сделанным выстрелом поражена была совершенно не та цель.

Программу «Кто ты, ровесник?» представил на просмотре не кто иной, а райком комсомола. Это к продолжению нашего разговора, к рассуждению о том, кто, как и на каком уровне руководит молодежными музыкальными клубами. Это проблема проблем. Специалистов этого дела не хватает катастрофически. Искусству контрпропаганды научить сложно, и, как правило, те, кто постиг данную премудрость, занимаются уже не дискотеками, а чем «посерьезнее». Отчасти проблему компетентного руководства дискотеками разрешают творческие объединения при горкомах комсомола Кемерово и Новокузнецка, отчасти что-то удалось сделать путем организации при институте культуры и университете соответствующих

отделений на факультете общественных профессий. Но это все в двух крупнейших городах Кузбасса, а как быть дискотечникам и комитетам комсомола в Мариинске, Тайге, Мысках?..

Еще один немаловажный вопрос — материальная база. Как говорится, заказывать музыке подобает тому, кто платит за оркестр. Опыт показал, что распространять свое влияние тем же комитетам комсомола на дискотеки, что базируются при ДК, прочих зрелищно-культурных учреждениях, не так просто. Нужны молодежные центры, и они появились, но беда в том, что их всего два на область.

В любом деле, в том числе и в организации молодежных клубов, нужны не только энтузиасты, но и профессионалы. И они есть — в хозрасчетной фирме «Досуг», что работает при кемеровском горсаде. Фирма эта вобрала в себя все наиболее интересное, что накопило дискотечное движение в области. В «Досуге» работали, например, Сергей Губанов и Николай Николаенко — парни эти имеют за плечами специальное высшее образование и значительный опыт практической работы. Еще раз сошлемся на урок той же творческой лаборатории. Наивысшей оценки заслужила контрпропагандистская программа «Дайте миру шанс», автор которой — Николаенко. Итак, профессионалы есть, но их наличие не снижает остроты проблемы в той мере, в которой хотелось бы. Фирма «Досуг» потому и называется фирмой, да еще хозрасчетной, что ничего бесплатно она не делает. Да, если заказать ей программу, заплатив предварительно, то можно быть уверенным — все будет сделано на довольно высоком уровне. А как быть тем, кто хочет сам и создавать, и вести программу?

Есть примеры успеха и подобной самодеятельности. Программу «Дайте миру шанс» Коля Николаенко создавал, будучи студентом института культуры. И то была не единственная удачная студенческая программа. При институте культуры и сегодня работает молодежный музыкальный клуб, с деятельностью которого с определенной натяжкой можно согласиться. Существовал неплохой клуб и при Кузбасском политехническом институте — «Одеон». Плохо лишь то, что опыт хороших клубов никем не обобщался.

В завершение разговора о молодежных музыкальных клубах еще одна, едва ли не самая горячая проблема — фонограммы. Дело в том, что вновь возникшим дискотекам ни городские объединения, ни комитеты комсомола, да и вообще никто из тех, кто к этому делу по официальной линии причастен, не могут помочь ничем, кроме совета. Молодежь пойдет в музыкальный клуб лишь в том случае, если будет уверена, что там ее вниманию предложат самые современные и интересные записи. А вот где их взять? Только у тех коллекционеров, о которых речь шла выше. Еще и по этой причине порой не удается создать хорошей тематической программы, и тогда идут по облегченному пути — отказываются от идеи клуба и, не забывая голову лишними проблемами, организуют просто танцы.

КРУГ ТРЕТИЙ — ТАНЦЫ ПОД ФОНОГРАММУ

Этот вид дискотеки позволяет совершенно уж примитивными средствами занять свободное время молодежи. Ничего особого нового тут нет. С давних пор известны танцы под патефон, в студенческих общежитиях испокон века только под пластинки или магнитофон и танцевали. Можно вспомнить строки Окуджавы «Во дворе, где каждый вечер все играла радиолка, где пары танцевали, пыля...» — это о довоенном времени. Так что само мероприятие имеет довольно солидный возраст, но с появлением нового названия пришли и новые проблемы.

Главнейшая из них все та же — фонограммы, записи, пластинки. Даже старшеклассники, когда они организуют дискотеку, начинают прежде всего искать того, кто располагает самыми новыми записями. По понятным причинам взрослые настаивают, чтобы во время мероприятия использовалась большей частью отечественная музыка. В принципе, всю танцевальную программу сегодня можно составить из отечественных образцов, но дело в том, что вся эта музыка записана самостоятельно. Ни на одной официально продаваемой пластинке вы не услышите песен таких групп, как «Примус», «Наutilus», «Зоопарк», «Аквариум»,

«Урфин Джюс» и т. д. Тем не менее на любых танцевальных дискотеках она представлена более чем исчерпывающе. Для того чтобы разобрать вредоносные тексты песен «Чингисхана», надо знать немецкий, для того же, чтобы понять то, о чем поет «Примус», достаточно русского.

Цитировать не представляется возможным, да и не надо. Что это за группы, можно проследить на примере «Урфин Джюс», которая функционировала в свое время в Свердловске. Ее руководитель, некто Новиков, надел на себя личину бывшего эмигранта, который только что «оттуда». Несложно догадаться, какие песни запел его коллектив. Сегодня Новиков отбывает довольно значительный срок в местах лишения свободы — не за песни, конечно, а за уголовное преступление. С Новиковым, как говорится, все ясно. Он никогда не был интересным музыкантом, и его песни привлекали определенную часть слушателей единственно своим душком, но ведь «подпольными» записями вынуждены заниматься и талантливые люди.

Самодельные группы заполнили вакуум, который создан в нашей легкой музыке. Разнообразные «Примусы» и «Аквариумы» четко уловили конъюнктуру, уподобившись этим (и не только этим) «фирмам». Они взяли самую современную музыку, положили на нее слова, которые не пропустил бы ни один, даже самый лояльный художественный совет, и выплеснули на головы подросткам уже не просто поток, а истинный водопад вульгарщины, цинизма и нахальства. неизбежно сработал эффект «запретного плода», и кассеты с «Примусом» стали стоить не дешевле, чем самые последние записи модных западных групп. Нашлись и распространители этой «музыки». Помимо все тех же коллекционеров, расстарались и деятели из звукозаписывающих студий, что функционируют от системы бытового обслуживания. Оказалось, что на этих дельцов практически вообще управы нет, и если все в тех же Новокузнецке и Кемерове хоть какой-то порядок в их работе наведен, то уже в Киселевске прямо у автовокзала можно приобрести в известном всему городу киоске не только последние записи «При-

муса», но и фонограммы «Кисс», даже фотографии (!) с их рекламных плакатов.

Бороться с иными дельцами из фотообъединения «Зенит» трудно, но можно. Тех же кинселеских «культуртрегеров» можно за одну фотографию с лицами из «Кисс» навсегда лишит права заниматься звукозаписью и торговлей ею. Но как быть с тем, что только у этих пристяжных нашей звуковой индустрии можно купить очередной концерт группы «Машина времени»? Интересно получается — программа группы утверждена, она с ней выступает по всему Советскому Союзу, но на пластинках ни одной песни из этой программы нет.

Стоит, видимо, сказать несколько слов об усредненном отношении к отечественной рок-музыке. Самое распространенное мнение — у нас вообще нет таковой, все, что мы имеем под этим названием, не более, чем эпигонство, беспомощное подражание. Отчасти в горьких этих словах есть правда, но лишь отчасти. Рок-музыка берет свое начало в ритм-энд-блюзе, который в свою очередь рожден был джазом, а джаз, как известно, создали американские негры, соединив свое национальное чувство ритма и новое для них европейское ощущение мелодии. Джаз создавался на английской фонетической основе, что и предопределило своеобразное звучание, характерное музыкальное построение ритм-энд-блюза. Многие наши группы, когда отечественная рок-музыка официально вышла на сцену, попытались чисто механически перенести приемы западных образцов в свое творчество. Но вокал и мелос славянский всегда отличался от любого иного, тем более — от английского. Англизированный славянский вариант рок-музыки оказался буквально «ни в какие ворота».

Нужен был славянский вариант, чисто национальный вариант рок-музыки. Впервые он появился в Польше, да и у нас в стране нашлись таланты. «Песняры», «Ариэль», но более всего группа «Скоморохи» и ее лидер Александр Градский, который в рок-сюите «Русские песни» продемонстрировал прекрасные возможности нового для большинства стили.

Позже появились профессионально состоятельные и взявшие за основу именно нацио-

нальную музыку группы «Гунеш» в Таджикистане, «Арай» в Казахстане, «Магнетик Бэнд» в Эстонии, «Автограф» в Москве. Появились и созданные на основе рок-музыки великолепные музыкальные спектакли. Причем, как это ни покажется странным, подняты подобный материал не музыкальные театры, а драматические. Московский театр имени Ленинского комсомола вынес на суд молодых такие работы, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Юнона и Авось». Главный режиссер театра Марк Захаров в интервью одной из молодежных программ Центрального телевидения сказал, что его труппа посчитала для себя обязательным завладеть вниманием молодежи, той ее части, которую музыкальные театры просто напросто выставили за свои стены. С легкой руки Захарова нашлись коллективы, которые заговорили с молодыми людьми на их языке, конечно же, о проблемах самого высокого накала.

Итак, жанр завоевывал свои позиции, но противников у него меньше не стало. Тот факт, что в его рамках развелось много халтуры (а в каком жанре ее, скажите, нет), позволил ударить разом и по всем. Решено было провести всеобщую тарификацию всех групп страны. Дело доброе, но как понять то, что «не прошли» такие программы, как «Утро планеты» «Ариэля», «Раздели со мной» нашей, кемеровской, рок-группы «Диалог»? Хорошо еще, что программа «Ариэля» была к тому времени записана уже на пластинку, а ведь у «Диалога» ни одна из трех, (две на стихи Марцинкявичуса, одна на стихи Кирсанова) свет в записи так и не увидела.

Программы «Ариэля» и «Диалога» «зарубили» по одной и той же причине — музыка к ним была написана не членами Союза композиторов, а руководителями данных групп. По последнему требованию не менее восьмидесяти процентов музыки любой программы; любой рок-группы должно быть написано профессиональным композитором. Оно бы и ладно, но у нас в стране не наберется и пятерки профессиональных композиторов, владеющих рок-стилем. Что означает для группы «Машина времени» на восемьдесят процентов сформировать свой репертуар за счет произведений

любого иного композитора, кроме Макаревича и Кутикова (члены группы)? Ни больше, ни меньше, как гибель группы. При соблюдении вышеуказанного условия группа потеряет свою индивидуальность и станет пусть профессиональным, пусть с хорошей музыкой, но все же рядовым, таким, каких сотни, исполнителем.

В результате к празднику сорокалетия Победы рок-группы вышли буквально ни с чем. Собственные их работы (в том числе и «Утро планеты» «Ариэля») оказались ненужными, а профессиональной рок-музыки, посвященной этой теме, было настолько мало, что практически все группы на разные голоса запели одну и ту же песню — «День без выстрела на Земле». Мы с благодарностью вспомнили достойные всяческого уважения песни военных лет, но согласитесь, молодежи нужны были еще и иные песни о войне, песни, созвучные ее мировосприятию, ее музыкальному пристрастию. Кто прогадал в результате того, что песни эти, уже написанные, уже подготовленные для исполнения, так и не прозвучали ни по радио, ни по телевидению, так и не были записаны на пластинки?

На Всесоюзном смотре эстрадного искусства, что проходил накануне сорокалетия, жанр вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп не был представлен совершенно. Объяснили это тем, что, дескать, в рамках жанра накопилось много проблем, вот пускай его представители посидят, подумают. А не логичнее ли было жанр, который запутался в проблемах, как раз с наибольшей полнотой представить на Всесоюзном смотре? Указать там на ошибки, помочь их исправить.

Проблемы отечественной рок-музыки не могли не сказаться и на дискотеках, в том числе — на танцевальных, у которых и своих сложностей хоть отбавляй. Танцевальные дискотеки, которыми лет пять назад увлеклись было все, сыграли с нами еще одну злую шутку. Они научили наших подростков романтике бражничанья. Не стану утверждать, что без дискотек не найти путей, по которым подросток пришел бы к употреблению спиртного, но очевидно, что так называемые коммерческие дискотеки сделали этот путь легко находимым, коротким и очень даже завлекательным.

Работники ресторанов и кафе в один голос заявляют, что до эпохи коммерческих дискотек они не знали в своих заведениях столь зеленого посетителя, какой стал им привычен в последнее время. Точнее — до июня 1985 года. Что же это за напасть такая — коммерческая дискотека? А не что иное, как совместное дитя некоторых комитетов комсомола и треста ресторанов. Когда комсомольские организаторы бросились создавать дискотеки, то их взор упал на кафе, на эти красочно оформленные залы. Дело в том, что тресты ресторанов с волшебной легкостью решали вопросы по приобретению специальной дискотечной аппаратуры.

Функции разделили так — трест приобретает аппаратуру, платит диск-жокеям, обеспечивает меню, а комсомол приводит посетителя. Таким образом и был введен в зал кафе тот, кто никогда бы при иных обстоятельствах в него не попал. Далее обнаружилось, что ресторанный трест не собирается терять выручку и согласовывать меню с комсомольскими работниками не хочет. Как была на столах кафе до дискотек выпивка, так она и осталась. Борьба, во всяком случае у нас, в Кузбассе, шла с переменным успехом года два, но потом те, кто организовывал посетителя, освободили поле боя, оставив на нем совершенно беззащитного подростка. В кафе «Кристалл», «Росинка», более всего — в «Улыбке» стала постигать алкогольное веселье настолько сопливая публика, что даже страшно.

Не упустили случая поправить свое финансовое положение за счет танцевальных дискотек и наши театры. Вообразите себе театр, в котором зрительный зал всеми возможными средствами защищен от проникновения в него посетителя. Именно так в наших театрах встречают пришедших на те вечера, когда на афише значится: «Молодежный бал» или «Дискотека». Беря довольно солидную плату за вход, администрация ограничивается проведением элементарных танцев в фойе, но даже и это мероприятие ухитряется организовать с предельным неуважением к зрителю, на самом низком, какой только можно себе представить, уровне. Авторы коллективного письма в газету «Кузбасс», рассказывая о подобной

дискотеке в областном драматическом театре, остроумно сравнили ее с игрой «куча-мала».

«Попробуйте, — писали они, — потанцевать в автобусе в «час пик». Именно такое развлечение и предлагалось нам. К этому еще и раздевалки не работали».

Характерно, что, когда коллектив театра оперетты, здание которого находилось на реконструкции, перебивался столь же низкопробными дискотеками и проводил их в помещении Дома культуры коксохимического завода, руководство областного управления культуры занимало более чем странную позицию: «Ничего не вижу, ничего не слышу...» Позицию свою попытались даже обосновать. Дескать, театр переживает сложные времена, надо его поддержать, пусть, вроде как, потешится пока. А как быть с теми, кто «бесился» на дискотеках в фойе? Их театрами уже не сделаешь.

Гремят танцевальные дискотеки в многочисленных Дворцах, Домах культуры и клубах области. Кто же за их пультами? В ДК треста «Кемеровошахтострой» (город Березовский) одно время эту трибуну (иначе и не назовешь) занимал человек, который только что был досрочно условно освобожден. Наказание в местах лишения свободы он отбывал не за что иное, как за фарцовку. Председатель объединенного профсоюзного комитета треста пояснил это безобразие бесхитростно и просто: «А где мы найдем другого для этого дела?»

КАК ИЗ КРУГА СДЕЛАТЬ КОЛЕСО

Проблемы дискотечного движения вполне разрешимы. Дискотека может и должна приносить пользу. Что же для этого нужно? Внимание и понимание. Необходимо четко представлять: что же это такое — дискотека. Надо знать ее функции, иметь ясное представление о принципах, через которые они осуществляются. Переоценка возможностей дискотеки столь же опасна, как и недооценка ее негативного влияния.

Если мы захотим разорвать проблемные круги, о которых речь шла выше, если мы постараемся обратить их на пользу, то надо делать это не свысока, не мимоходом. Хотим того или нет, но придется нам, взрослым, при-

знать право наших подростков на собственные музыкальные вкусы. Более того — надо нам научиться вкусы эти уважать. Мы легко соглашаемся с тем, что дети имеют свою музыку, но тогда почему не терпим того же самого у подростков? Нельзя же серьезно считать, что прямо из коротких штанишек, из «В лесу родилась елочка» человек (в отношении музыки) шагнет сразу во взрослость.

Автор не призывает потакать невзыскательности и плохому вкусу, он лишь предлагает более внимательно отнестись к тому, что слушает ваш сын или ваша дочь, под что они танцуют. Вполне вероятно, вы поможете детям своим отместить действительно плохую музыку, но возможно, что попутно и обогатите себя тем, что узнаете новое. Право, вам многое понравится.

А в состоянии ли старшее поколение понять музыку подростков? Вполне. Газета «Советская Россия» поместила как-то на своих страницах информацию: «Недавно исполнилось ровно пятнадцать лет, как Хелена Кухнер работает диск-жокеем. Молодежь республики любит «Диск-Хелену», которая всегда познакомит с новинками музыки и которой в 1986 году исполняется... 75 лет». Речь идет о ГДР. Там, говоря о музыкальных пристрастиях поколений, не стали усугублять проблему. В ГДР взрослые сделали шаг навстречу молодежному увлечению. Не в этом ли секрет, почему в этой социалистической стране избежали многих сложностей дискотечного движения, тех, с которыми мы все еще безуспешно боремся?

Мы очертили три проблемных круга. Понятно, что для каждого существуют специфические противоядия. Надо разорвать все три, но начинать следует с первого, а не с последнего, как это чаще всего случается. Внимательное, понимающее отношение к молодежному увлечению само по себе позволяет расшатать первый круг.

Очевидно, что для дальнейшей работы нужны кадры и материальная база. Самое логичное, если компетентные кадры для работы с дискотеками будут иметь комсомольские комитеты и управления культуры на местах. Подготовку квалифицированных кадров может

и должен вести институт культуры. По двум направлениям. Своих студентов, тех, кто будет иметь специальность «режиссер массовых представлений», надо готовить в обязательном порядке в рамках учебной программы таким образом, чтобы любой выпускник, приехавший на постоянную работу в любое село, мог сам и организовать профессиональную дискотеку, и провести ее. Остальные студенты могут постигать эту премудрость на факультете общественных профессий. Второе направление — подготовка и переподготовка уже работающих диск-жокеев и комсомольских работников, кому это нужно по роду деятельности. Надо добиться того, чтобы ни в одной дискотеке области за пультом ее не стоял человек, которого бы не утвердила предварительно соответствующая комиссия — она может называться и городским объединением дискотек, как в Кемерове и Новокузнецке.

Теперь о материальной базе. Дискотечные объединения должны формироваться при молодежных центрах. Таких, как «Дискуссия» в Юрге, «Спектр» в Новокузнецке. Подобные центры создаются, конечно, не для одних дис-

котек. Там располагаются и штаб оперативно-го комсомольского отряда, и разнообразные кружки, и мастерские для домашнего рукоделия, и некоторые спортивные секции. При этом еще и дискотека. Собственное помещение позволяет комитетам комсомола самостоятельно формировать и репертуар дискотек и меню, если в центре том предусмотрено что-либо типа кафе. Становится возможным проведение разнообразных молодежных мероприятий. Немаловажен еще один аспект: так как молодежный центр становится как бы собственностью комитета комсомола, то и спрос за содержание работы, может быть учинен в любое время и самый строгий. Мы давно согласились с тем, что проблема дискотек — из самых сложных, ну, коль так, то и решать ее надо на самом серьезном уровне.

А как ответить на вопрос, что прозвучал в заголовке? Умолкнет ли дискотека? Безусловно, но тогда лишь, когда на смену ей придет иная форма, рожденная жизнью. Не надо топить события, но и плестись в хвосте факта — последнее дело.

От редакции: автор предлагаемых читателю заметок в свое время был комсомольским работником и по роду деятельности занимался организацией свободного времени молодежи, так что перед вами — плод наблюдений и раздумий не одного года. Заметки откровенно полемичны, и редакция, публикуя их, рассчитывает на продолжение разговора. Заметки вполне могут стать началом спора, в котором родится истина.

В истории нашего государства немало значительных событий и славных имен, которыми по праву мы можем гордиться и которые могут и должны стать тем идеалом, в котором столь нуждается молодое поколение. Их образы, их истинно народный характер — вот живая нить, связывающая нас с нашей историей. Обрывая ее, мы тем самым неизбежно отсекаем от себя основные источники нашей духовной силы.

Из материалов XXVII съезда КПСС

Михаил Сорокин

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР

В ноябре 1986 года Гурьевский металлургический завод, старейшее предприятие Сибири, отмечает свое 170-летие. Такой трудовой стаж — явление уникальное, само по себе внушающее уважение. Но не только числом прожитых лет славна биография знаменитой «Гурьевки». Это живая история черной металлургии СССР. У истоков — такие замечательные новаторы русской техники, как Поликарп Залесов, Петр Фролов, Дмитрий Бичтов, Василий Литвинов, Павел Ярославцев. Здесь продолжал свои знаменитые опыты с булатом Павел Аносов.

Гурьевский завод с гордостью носит славное имя Михаила Константиновича Курако. В длинном списке великих русских металлургов, чья деятельность оказалась непосредственно связанной с судьбой ветерана сибирской промышленности, Курако занимает особое место. Могучая фигура известного всему миру русского доменщика возвышается на крутом переломе исторических эпох, разделяет в истории завода век прошедший и век нынешний.

Сын потомственного дворянина, Курако юношей покинул отчий дом, навсегда разорвал связи с аристократическим сословием, с головой погрузился в рабочую среду. Его «университетами» стали доменные цеха Брянского

(Екатеринослав), Гданцевского (Кривой Рог), Мариупольского, Краматорского, Юзовского заводов, а уважаемыми профессорами-наставниками — металлурги, кадровые рабочие. Здесь, на заводах юга России, в конце XIX — начале XX веков сформировались крупные центры революционного движения, с каждым годом разгоралось, росло и крепло пламя классовой борьбы.

В среде металлургов Курако получил первые уроки жизни, прошел блистательный, но нелегкий путь от чернорабочего-каталя до горнового, а затем и далее до знаменитого «доменных дел» мастера и даже начальника доменного цеха.

Великий мастер не имел диплома об окончании высшего учебного заведения. Искключительно путем самообразования он сумел стать выдающимся специалистом-металлургом, кудесником доменного процесса. Жена Михаила Константиновича рассказывала: «Доменное дело было его божеством. Я видела, что домна ему дорога, как, например, художнику или писателю дорого его творчество».

Прошло совсем немного времени, а слава об искусстве Курако-доменщика пошла гулять, греметь по всему югу России. Владельцы металлургических заводов старались заполучить

себе знаменитого мастера, переманивали его друг у друга, сулили солидные заработки, обещали свободу во всех начинаниях. Не прочь были купить «на корню» талант Михаила Константиновича стальные короли Соединенных Штатов Америки.

Став знаменитым, «звездой первой величины», Курако не возгордился, не зазнался, не оторвался от воспитавшей его среды, от людей труда, не замкнулся в кругу технической элиты. Металлурги, покорители огня и металла, были по-прежнему ему бесконечно дороги и близки. Нуждающимся он постоянно оказывал материальную помощь. На его стипендию учились дети доменщиков, пострадавших в авариях на производстве. Благодаря нажиму со стороны Курако заводчики были вынуждены оказывать семьям металлургов солидную помощь.

Грозный 1905 год окончательно расставил всех по своим местам. Произошла дальнейшая поляризация русского общества. Естественно, что Курако оказался по эту сторону баррикад, в рядах восставшего против царского деспотизма народа. В дни революции металлурги избирают его в рабочий Совет, назначают начальником боевой дружины Краматорского завода.

Приход Курако в революцию не был данью моде, следствием мимолетного увлечения. Об умонастроениях Курако того времени свидетельствовало его письмо, направленное товарищам по труду и совместной борьбе из вологодской ссылки летом 1907 года: «Борьбе за освобождение от царского ига я отдался весь... всю жизнь свою, сколько мог и хватало сил, служил народу».

Курако по-прежнему оставался революционером не только в технике, но и в политике, в социальных отношениях. Этому он старался учить своих учеников. И кто сумел впить в свою плоть и кровь уроки великого доменщика, только тот стал настоящим куракинцем.

«Вам нужно, — заявил однажды Курако, обращаясь к своему молодому другу Г. Е. Казарновскому, — непременно научиться стрелять. Нам еще придется делать революцию». Сам Курако готовился делать революцию во всех сферах жизни — в политике, обществен-

ных отношениях и уж конечно в технике, в металлургии.

Верный куракинец Григорий Казарновский не забыл уроки своего учителя. О них он не раз вспоминал в Гурьевске в дни бешеного разгула колчаковского террора. Причем не только вспоминал, но и старался поступать так, как на его месте сделал бы Учитель.

Как всякий выдающийся человек, Курако умел спланировать, собирать вокруг себя людей, зажигать их великой идеей, объединять высокой целью. От него исходила какая-то особая, внутренняя сила. Он был талантливым организатором.

Вот как описал Курако один из его учеников, будущий герой Кузнецкстроя, академик И. П. Бардин: «Среднего роста, жилистый и худой. Твердая, изящная походка... Красивой, правильной формы голова, высокий лоб, лицо, слегка покрытое морщинами, но сухое, энергичное, энергию которого подчеркивали острые глаза, пронизывающие и вместе с тем удивительно теплые, человеческие. Никогда таких изумительных глаз я не встречал ранее».

Патриот своей Родины, Михаил Константинович мечтал о том времени, когда наша страна будет великой стальной державой, когда у нее будут десятки заводов-гигантов, причем более совершенных, чем американские. Курако отлично знал пути, ведущие к достижению этой высокой цели. «Надо прогнать капиталистов, — убежденно твердил он своим ученикам, — и строить домны, чтобы народ мог иметь сколько угодно железа».

Курако был убежден, что уже не за горами, близок его звездный час, что он придет, скоро придет, обязан прийти. Он мечтал, что ему удастся лично возглавить такое строительство. Ради этого он был готов отправиться куда угодно — в Сибирь, на Камчатку...

В начале XX века среди специалистов, геологов и металлургов, начала утверждаться мысль, что лучшего места, чем Кузбасс, для будущего металлургического гиганта нет и быть не может. Громадные запасы высококачественного коксующегося угля здесь счастливо сочетались с железной рудой Горной Шории. Все это дополнялось известняками, огнеупорными глинами, разнообразными строи-

тельными материалами. Близость Транссибирской магистрали обеспечивала бесперебойную доставку металлопродукции в любой уголок огромной страны.

Курако терпеливо готовился к главному делу своей жизни. Он постепенно накапливал сведения о природных ресурсах Кузбасса. Не раз долгими вечерами, после рабочего дня, за дружеской беседой он обсуждал со своими учениками детали предстоящей стройки. Едва ли не главное, решающее значение в этих беседах отводилось базе для строительства будущего металлургического гиганта. Все чаще и чаще мысль Михаила Константиновича обращалась к Гурьевскому заводу.

Сохранились любопытные воспоминания непосредственного участника тех дружеских встреч — куракинец И. П. Бардина. Академик рассказывал: «Впервые я услышал о Гурьевском заводе осенью 1915 года, во время одной из вечерних бесед, которые мы, заводские работники, почти ежедневно проводили на квартире Михаила Константиновича, в то время начальника доменного цеха Енакиевского завода. Очень часто темой этих бесед был новый металлургический завод, который где-то и когда-то должен быть построен Михаилом Константиновичем с непременно нашим участием».

В планах Курако Гурьевскому заводу отводилась исключительно важная роль. Он должен был стать не только базой будущей стройки, здесь рассчитывали организовать подготовку кадров металлургов (рабочих, техников, инженеров, счетных работников) для будущего гиганта, отработать наиболее приемлемые формы учета и т. д.

Незадолго до первой мировой войны, в 1912 году, Кузбасс перешел в руки нового «хозяина» — акционерного общества «Копикуз». Оно было намерено организовать в крупных масштабах добычу каменного угля, построить химический, а затем и металлургический заводы. Для уточнения запасов угля в Кузнецкий бассейн был приглашен известный геолог Л. И. Лутугин, а для проектирования металлургического гиганта — М. К. Курако.

В мае 1917 года М. К. Курако с группой своих учеников (Г. Е. Казарновским, Р. В. Ли-

зуновым, П. Д. Зайцевым, И. М. Демидовым, М. Ф. Жестовским и другими) прибыл в Томск, где в то время находилось правление «Копикуза». Группа Курако едва успела развернуться и приступить к делу, как произошел мятеж белочехов. Сибирь оказалась ввергнутой в пучину гражданской войны. В условиях хозяйственной разрухи, колчаковского террора Курако, который сам находился под подозрением у представителей старой буржуазной интеллигенции и тем более у колчаковской контрразведки, принимает мудрое решение перевести своих соратников в Гурьевск.

Вот что об этом писал один из участников его группы, инженер М. Ф. Жестовский: «Как только Михаил Константинович увидел первые признаки расстройств хозяйственно-политической жизни страны, он стянул всех привезенных с юга инженеров на Гурьевский завод, где продолжал проектирование будущего Кузнецкого завода, руководил работами на Гурьевском заводе».

Никогда еще в своей истории Гурьевск не видел такого блестящего созвездия инженеров-металлургов. Оторванный от остальной Сибири, не имеющий с ней даже железнодорожного сообщения, глухой и заброшенный заводской поселок в той конкретной обстановке имел определенные преимущества.

Конечно, и здесь, в Гурьевске, обстановка была сложной, и здесь, как и по всей Сибири в целом, царил колчаковский террор. Но все же в глухом поселке была хоть некоторая возможность продолжать работу. К слову сказать, у нас иногда забывают, что именно в Гурьевске, под руководством Курако, в исключительной сложной обстановке тех лет работа не прекращалась. Прервать ее для Курако было равносильно измене своей мечте.

Позднее на важную особенность Гурьевского завода, порожденную обстоятельствами его исторического развития, обратит внимание Бардин. «Гурьевский завод, — читаем в его воспоминаниях, — представлял из себя настоящую автономную металлургическую республику. Все имелось на месте, почти все можно было сделать своими средствами и силами».

Во время первого знакомства с заводом Курако внимательно осмотрел цеха, познакомил-

ся с их техническим оснащением. Конечно, старинный завод своей мощью не впечатлял, но увиденное все же подтверждало первоначальный замысел превратить его в базу для будущего строительства.

Недолго довелось Курако работать на Гурьевском заводе, но это, без сомнения, была самая сложная пора в его жизни. Сибирь стояла под гнетом Колчака. Обыски, расстрелы следовали друг за другом. Колчаковская контрразведка не без оснований подозревала Курако в связях с большевиками. Однако, несмотря на огромный риск, он продолжал укрывать в заводском коллективе немало борцов за свободу, своевременно предупреждал их о грозящей опасности. Его ученики стали надежными помощниками и в этом опасном деле.

Находчиво проявил себя в дни разгула колчаковского террора ученик Курако Григорий Ефимович Казарновский. Михаил Константинович назначил его техническим директором предприятия. Однажды на территорию завода ворвался с солдатами военный комендант Гурьевска поручик Костин. Ему донесли, что в одном из цехов стихийно возник митинг, на котором рабочие вовсю проклинали кровавый режим Колчака. Каратель рассчитывал захватить его участников врасплох, арестовать зачинщиков. Предупредил рабочих о грозящей опасности, помог им скрыться Казарновский.

Офицер почувствовал себя одураченным, обведенным вокруг пальца, заподозрил неладное. Он кричал на Казарновского, топал ногами, вопил, что на заводе почти в открытую ведется большевистская пропаганда, грозил инженеру арестом.

Детали событий нам известны из воспоминаний их непосредственного участника, рабочего Константина Иванова. Он рассказывал, что рабочие «спрятались в обжиговой печи, из которой только выгрузили кирпич. Сидеть в ней пришлось довольно долго. Хорошо, что дело было зимой. На людях надеты полушубки, которые от жары начали коробиться. А выходить нельзя». В коллективе потом долго вспоминали эту парилку.

Казарновский знал, где укрылись рабочие. Когда опасность миновала, он послал туда надежного человека и велел всем осторожно рас-

ходиться. Инженер предупредил, что каратели, по-видимому, не знают фамилий участников собрания, но советовал быть все же поосторожнее. Не исключено, что в большом коллективе может найтись провокатор.

И сам Курако, и его ученики не раз спасали рабочих от верной гибели. Гурьевский мастерской Родион Гилев, например, рассказывал, как он в дни Кольчугинского восстания был большевиками послан в разведку и угодил в руки белых. На допросах он твердил, что был послан заводским начальством чинить телефонную линию. Колчаковец не поверил показаниям рабочего, решил лично удостовериться и позвонил в Гурьевск. К счастью, у аппарата оказался Казарновский, который моментально сориентировался и решительно подтвердил показания Гилева. Таким образом, своим спасением большевик оказался полностью обязанным Казарновскому.

Курако и его сподвижники пользовались большим уважением рабочих, всех жителей поселка. Когда в Гурьевск ворвалась банда, устроившая здесь резню, только энергичное заступничество коллектива спасло жизнь инженеров.

В начале декабря 1919 года силы Красной Армии и сибирских партизан очистили Кузбасс от белогвардейцев. Для Курако наступили решающие дни, дни еще более напряженного труда. Его избирают членом Кузнецкого ревкома, назначают на пост председателя уездного Совета народного хозяйства. Он по-прежнему остается управляющим южной группы копей Кузбасса.

В начале 1920 года в Гурьевск, на адрес Курако, пришла телеграмма. Уполномоченный совета обороны, говорилось в ней, просит немедленно прибыть... Далее следовала подпись — *Свердлов*.

Встреча состоялась на станции Юрга. Здесь Курако сообщили, что Советское правительство вынуждено временно отложить строительство металлургического завода в Кузбассе. Предстояло сначала преодолеть разруху и голод, восстановить транспорт, оживить экономику, вдохнуть жизнь в погасшие домы и мартены Юга и Урала. Умом Михаил Константинович понимал, что в тех условиях это было

единственно верное решение. Но сердцем...

Сутки спустя Курако снова был в Гурьевске. Он сообщил своим ученикам о решении правительства и вскоре уехал в Кузнецк, где его ждали не терпящие отлагательства обязанности председателя Совета народного хозяйства. Напряжение последних лет, непрерывное мотание по дорогам, недавнее сильное нервное потрясение — все это не могло не сказаться на в общем-то крепком здоровье Михаила Константиновича.

В те дни по городам и селам Сибири бесчинствовал колчаковский наследник — сыпняк. Постоялые дворы, почтовые станции, вокзалы, крохотные больницы, частные дома — все было забито больными. Где-то беда подстерегла и Курако. С большим трудом добравшись до Кузнецка, он вконец занемог и слег. Узнав о случившемся, его ученики немедленно отправили из Гурьевска на помощь М. Ф. Жестовского. Однако было уже слишком поздно. Спасти Курако не удалось.

Его похоронили 8 февраля 1920 года в Шушталепе, на избранной им для завода площадке, там, где Михаил Константинович в мечтах видел свое любимое детище — металлургический гигант. Спустя много лет его останки перевезут в Новокузнецк, где перезахоронят в березовой рощице, что растет на так называемой Верхней Колонии, за комбинатом. Над могилой воздвигли скромный обелиск с лаконичной надписью — «Великий мастер доменного дела М. К. Курако (1872—1920 гг.)».

Все 20—30-е, да и более поздние годы в Кузбассе прошли под знаком реализации идей Михаила Константиновича. Под руководством Казарновского, любимого ученика Курако, удалось нарастить производственные мощности Гурьевского завода. Без этого о строительстве металлургического гиганта нечего было и думать.

В 20-х годах Гурьевский завод подвергся существенной реконструкции. Как писал в своих воспоминаниях Казарновский, здесь «был выплавлен первый в Сибири чугун на минеральном горючем, первый в Союзе чугун исключительно на каменном угле, первый в Союзе (а может быть, и в мире) ферромарганец на каменном угле и первая в Сибири мар-

теновская сталь...» Существенно возросла мощь всех металлургических агрегатов.

Гурьевские металлурги в сложных условиях проявили трудовой героизм, готовность к самопожертвованию, свойственную нашему народу — сообразительность, находчивость, выдумку и смекалку. «Гурьевцы, — читаем в воспоминаниях Казарновского, — не жалели труда, не боялись трудностей, умели использовать свои скромные ресурсы. Восстанавливая доменную печь, они переделали паровую машину какой-то сгоревшей мельницы в воздуходувку, изготовили воздуходувный цилиндр. Не имея котельных ножниц, они рубили железо зубилами и своими силами изготовили приводные пресс-ножницы. Они вручную ковали, раздували горны ручными мехами и изготовили приводной молот, установили к горнам вентиляторы... Не имея никакого кирпичноделательного оборудования, они мяли глину лошадьми и изготовили приводные глиномялки. Не имея шамота, они заменили его древесными опилками и изготовили кирпич, чтобы построить новую печь для обжига огнеупорного кирпича. Они заменили деревянную воздуходувную машину вагранок вентилятором, сделали новую трансмиссию в механической мастерской, увеличили скорость станков».

Была перестроена доменная печь, пущена мартеновская печь, организовано прокатное производство. И когда пробил час Кузнецкстроя, Гурьевский завод стал его базой.

Глубоко символично, что первыми на великую стройку металлургического комбината пришли верные ученики Курако и гурьевцы. Техническим директором стройки стал Иван Павлович Бардин, а его первым помощником в этом многотрудном деле — Казарновский.

Бардин подчеркивал, что «помощь, оказанную Гурьевским заводом Кузнецкстрою, нельзя недооценивать. Почти пятьдесят процентов арматурного железа, которого требовалось не менее ста тысяч тонн, прокатано было на Гурьевском заводе. Кирпич, из которого были сложены первые печи огнеупорного цеха Кузнецкого завода и различные временные топки, а также произведена футеровка котлов, — был гурьевский. Все холодильники доменных печей № 1 и 2, большая часть чугуна для

фасонов водопроводных магистралей, металлические крепления двух деревянных водопроводов, подающих воду из Томи на завод, строительный инструмент, ломы, кирки и прочее изготовлялись на Гурьевском заводе. Не будь этого завода, строительство Кузнецкого комбината протекало бы медленнее, а промедление — смерти подобно.

Заказы Кузнецкстроя были взяты металлургами Гурьевска под особый контроль. Ветеран завода Филипп Иванов вспоминал: «Теперь вышло из употребления слово «вечеровать», то есть работать после смены час-два без всякой оплаты. А мы «вечеровали», и довольно часто. Особенно, когда началось строительство КМК».

Уж тут старались, как говорится, превзойти самих себя, а продукцию дать не просто хорошую, а самого отменного качества. В этом проявилась гражданская зрелость гурьевских металлургов, их четкая классовая позиция. «Качеству работ литейной Гурьевского завода, — заметил Бардин, — кузнечане могли позавидовать; достаточно сказать, что брызгальные форсунки, делающиеся обыкновенно в Америке из бронзы, литейщики Гурьевска сумели изготовить из чугуна, без обработки, не хуже, чем американские. Когда требовалась ответственная отливка, то заказ на ее изготовление передавали на «Гурьевку». Качество огнеупорных изделий на «Гурьевке» первое время также было выше, чем на Кузнецком заводе. Последнее время в огнеупорном цехе Гурьевского завода было даже налажено производство лодочек для химических анализов и шамотных трубочек для термопар».

Жизнь полностью подтвердила точность расчетов Курако, полагавшего, что Гурьевский завод не только станет надежной базой строительства, но и поделится кадрами металлургов. «Посланцы Гурьевска, — отмечал в своих воспоминаниях Казарновский, — представляли наиболее квалифицированную часть трудящихся великой стройки. Гурьевские котельщики, механики, монтажники пришли на строительство с первых его дней. Они монтировали и пускали в ход первые экскаваторы и паропушечные краны, первые деррики и первые бетономешалки, обучали молодых рабочих, при-

шедших «от земли» из всех концов необъятного СССР строить для своей Родины гигантский завод».

Здесь, в Сибири, окончательно оформилась, окрепла, приобрела мировую известность куракинская школа в черной металлургии. Ее питомец И. П. Бардин, например, стал академиком, вице-президентом Академии наук СССР, заместителем наркома черной металлургии. Заслуги другого ученика Курако, Казарновского, также были высоко отмечены. Ему дважды присваивалось звание лауреата Государственной премии, он был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многими медалями.

Куракинцы третьего поколения, ученики Казарновского, — видные советские металлурги, заместители министра черной металлургии А. Ф. Борисов, Н. Г. Кратенко, В. Б. Хлебников, Герой Социалистического Труда профессор-доменщик Б. Н. Жеребин, видный изобретатель Г. В. Шаров. Этот почетный список можно еще долго продолжать.

Кузнечая земля стала последним приютом для Курако и Казарновского, для Учителя и Ученика. Их прах покоится рядом с делом их рук, рядом с могучими плавильными агрегатами КМК, в пантеоне Славы кузнечских металлургов.

Давайте выйдем с вами на вокзальную площадь Новокузнецка! Ликующими лучами разбежались во все стороны широкие проспекты города металлургов, стального сердца Сибири. В конце одного из них, проспекта Курако, по которому идет кратчайший путь к заводским проходным КМК, видна величественная панорама крупнейших в мире кузнечских домен, воплощенная мечта великого мастера. В сквере, у проспекта Металлургов, сооружен замечательный памятник И. П. Бардину, дань памяти благодарных сибиряков. На проспект его имени выходят корпуса Сибирского металлургического института, замечательной кузницы кадров следующих поколений куракинцев. К проспекту Курако нас выводит проезд Казарновского, величественный и скромный, такой же, каким был в жизни этот удивительный че-

ловек. Как тесно в стальной столице Сибири, в Новокузнецке, переплелись и история, и современность.

Коллектив Гурьевского завода старается быть достойным памяти великого русского металлурга, вот уже несколько пятилеток подряд досрочно справляется с заданиями. Минувшая пятилетка не стала исключением. Экономические показатели завода одни из лучших в отрасли. Не случайно его представителям оказывались высокое доверие и честь представлять трудовой Кузбасс на всех после XXII съезда КПСС.

Сотни металлургов с гордостью носят почетные рабочие звания заслуженных рационализаторов, заслуженных металлургов, награждены самыми высокими наградами Родины, а сталевар П. С. Зотов, прокатчик Е. Ф. Савельев удостоены звания Героев Социалистического Труда.

170 лет для промышленного предприятия —

возраст, конечно, весьма и весьма почтенный. Однако могу смело утверждать, что Гурьевский завод не чувствует себя дряхлым старцем, его не мучает старческая одышка. Наоборот, к своему юбилею он помолодел и принарядился. Во всех цехах сегодня кипит работа по реконструкции, по совершенствованию производства. Преображаются прокатное, мартеновское, литейное и другие отделы завода. Довольно успешно справляется коллектив с решением сложных социальных задач.

Родина и в будущем получит от гурьевских металлургов еще не один миллион тонн знаменитой стали, высококачественного проката, стальных помольных шаров, металлической сетки, чугуна и другой разнообразной и нужной народному хозяйству металлопродукции. Поручкой тому неувядающее рабочее мастерство, неустанный поиск резервов, желание еще более ускорить развитие родного завода, старейшины сибирской металлургии.

ПАЛЬМЫ ПОД КРЫЛОМ*

Когда спешащие люди на мгновение задерживаются у красочных афишных тумб, Кемеровской филармонии, извещающих о том, что театрализованный ансамбль «Люди и куклы», возвратясь из дальних гастрольных странствий, вновь приглашает любителей эстрады на свои спектакли, мне вспоминаются незабываемые весенние дни прошлого года...

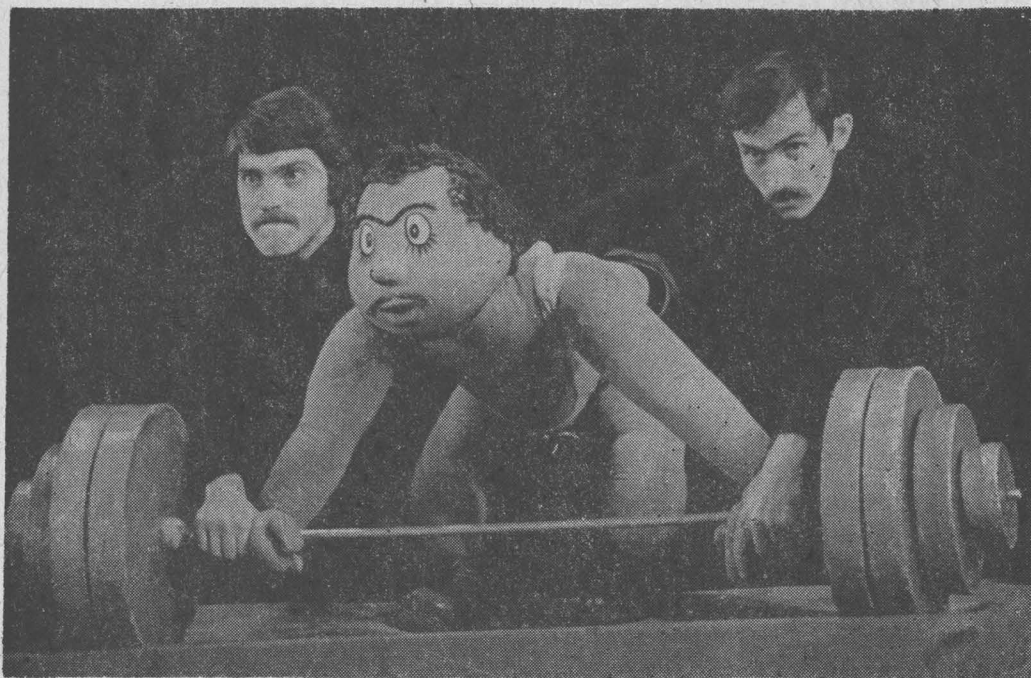
Самолет плавно накренил стреловидное крыло и, вырвавшись из пелены легких облаков, стремительно пошел на посадку.

— Смотрите — пальмы! — раздался чей-то восхищенный голос.

Пассажиры огромного лайнера ИЛ-62, совершающего рейс Москва — Гавана, прильнули к иллюминаторам. В лучах солнечного заката показалась красавица Гавана. Стройные, с лохматыми верхушками пальмы со всех сторон окаймили международный аэропорт имени Хосе Марти.

Колеса лайнера пробежали по полосе положенное им расстояние и замерли, поставив заключительную точку более чем тринадцатичасового перелета через Атлантический океан.

Право представлять советское многонациональное искусство на Кубе ансамбль «Люди и



* Фото Д. Коробейникова.

куклы» заслужил своей напряженной творческой жизнью.

Вот уже семь лет любители эстрады в различных городах нашей страны могут знакомиться со спектаклями этого самобытного и уникального театра. И все эти годы концерты проходят с аншлагами, что свидетельствует о высоком профессионализме коллектива, созданного Леонидом Хайтом, — тогда еще художественным руководителем группы студентов отделения актеров кукольных театров «Гнесинки» — Московского музыкального училища имени Гнесиных. С тех пор он бессленно возглавляет ныне популярный ансамбль.

Выступления по Центральному телевидению, участие в культурных программах Олимпиады-80 и XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, концерты в крупнейших городах Советского Союза, выходы на сценические площадки Венгрии, Чехословакии, Кубы. Это теперь. А до того — учеба, каждодневный упорный труд в создании новых, не похожих на предыдущие спектаклей.

Все были азартны и влюблены в свое дело. Театральные этюды шли потоком. Например, фонвизинскую Софью из «Недоросля» играла каждая участница учебной группы. Пока не стало ясно, что Софья — это Наташа Виноградова.

Леонид Хайт постоянно экспериментировал. Ведущие роли не миновали и студентов. В калейдоскопе ролей оттачивалось мастерство будущих артистов. Одни свои роли строили с психологическими «узлами», другие — с юмором, веселыми шутками, в манере яркого балаганного представления.

Учитель — так ребята зовут своего художественного руководителя — сидел обычно молча. Как-то весь в себе. Иногда говорил «хорошо», бросал реплики. Ученики порой были страшно недовольны такой его сдержанностью. Взбудораженные, уходили домой: неужели их труд не стоит более высокой оценки?

И снова поиски. Вот у актера в одном из этюдов появилась в руках гитара. Чуть изменив голос, он исполнил несколько шлягеров из репертуара известного певца. Ребята посмеялись и забыли. Учитель не забыл. Через



несколько лет этот эпизод стал основой для спектакля «Остановите музыку!», разоблачающего штампы эстрады, эстрадных «жучков» и тех, кто слепо копирует манеры западных исполнителей.

И наконец — большая находка: убраны театральные ширмы, рядом с куклами отныне встали люди. Зритель получил театр особого типа. Музыка, драма, комедия, куклы — все слилось во что-то цельное, подчиненное не только одной идее, но и одному режиссерскому стилю. Это уже был свой стиль. Ансамбль «Люди и куклы» состоялся.

Приехавший в Кузбасс по путевке ЦК ВЛКСМ с шефскими концертами на ударные комсомольские стройки студенческий театр Л. Хайта очень приглянулся кузбассовцам. Итогом первых гастролей было приглашение на профессиональную работу в Кемеровскую областную филармонию.

Семь лет ансамблю. По времени — это еще один университет. Университет жизни, который актеры закончили уже будучи профессионалами.

Как и раньше, обстановка на репетициях доброжелательна, все куклы и реквизит изготовляют сами артисты, каждый всегда готов работать «по совместительству» — выручить товарища в любом спектакле, в любой роли. Меняются спектакли, концертные площадки, меняется зритель и география гастролей. Неизменным остается одно — верность любимому делу.

...Смолкли двигатели самолета, и пассажиры окунулись в кубинскую весну. Слышится испанская речь. Закончилась несложная процедура таможенного досмотра, и все выходят на привокзальную площадь. Она встретила неповторимым многоголосым шумом. Вокруг автомобили самых различных марок, начиная от юрких «рено» до представительных «мерседесов» с дипломатическими флажками на радиаторах. И вдруг... «Мужики, гляньте-ка — «пазик»!» И точно: над малолитражками

возвышался новенький голубой автобус, такой знакомый и такой родной. Представители советского посольства и принимающей организации «Куба-артиста» тепло встретили коллектив ансамбля.

Те кузбассовцы, которые бывали на Кубе, конечно же, помнят один из лучших отелей кубинской столицы «Гавана-либре» — «Свободная Гавана», устремивший вверх свои двадцать три этажа на берегу старинной бухты, вход в которую вот уже три сотни лет охраняет старая крепость, возведенная еще испанскими колонизаторами. В этом живописном месте и поселился ансамбль. При составлении плана гастролей на Кубе была намечена обширная культурная программа, где предусматривалось знакомство с достопримечательностями Гаваны, широкая пропагандистская работа.

На Кубу ансамбль привез тридцатиминут-



ный цветной документальный фильм, созданный на Западно-Сибирской студии кинохроники. Это фильм-рассказ об истории создания театрализованного ансамбля, о Кузнецком крае и Сибири, о гастролях, спектаклях.

Кроме кинофильма, в багаже вместе с рекевизитом коллектив привез на Кубу легкую передвижную фотовыставку. Кубинцы с интересом знакомились с ней — многие из них впервые увидели заснеженные просторы России, русскую тройку и сибирского медведя.

Представления шли глубокой ночью, когда спадала дневная жара и на землю опускались быстротечные южные сумерки. В распоряжении сибирских артистов была сцена театра «Катурла», небольшая по габаритам, но очень уютная.

Задолго до начала представления в театр шли и шли жители близлежащих кварталов. Их привлекали красочные спектакли ансамбля, фотовыставка. Неугомонная детвора оказалась самой благодарной и непосредственной пуб-

ликой. Как только автобус с артистами подъезжал к театру, со всех сторон сбегалась шумная стайка гаванских мальчишек и девчонок.

Особой популярностью у детворы пользовался спектакль «Широко открытыми глазами», в котором действовали куклы «детского» возраста, звучала музыка из популярных детских мультфильмов.

Уже после возвращения на Родину от атташе по вопросам культуры посольства СССР в Республике Куба коллектив ансамбля получил благодарственное письмо, в котором говорилось: «За период гастролей было дано 13 концертов. Представления проходили на высоком профессиональном уровне. Зрители тепло принимали живые и веселые миниатюры в исполнении сибирских артистов».

Я думаю, что к этой оценке присоединят свои голоса многие поклонники творчества театрализованного ансамбля «Люди и куклы».

В. КАБИН.

Владимир Ширяев

„С ЗЕМЛЕЙ ЖИВИТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ...“

(Заметки о творчестве Владимира Иванова)

Замечаю, что в последние годы мои товарищи нет-нет да и встают в разговоре «что-нибудь из Иванова».

Говорят, например, о молодом городе Березовском — непременно услышу: «И там, где волнуются травы, начнут волноваться умы». Глядя на увядающие деревья, кто-то скажет: «Помедли, пора листопада, помедли, повремени...» А в начале зимы, когда первая поэмка закружит над землей, вдруг произнесешь про себя:

*Первый снег.
И прохлада.
И воля.
И равнины нетронутый лист.
И гуляет*

*по чистому полю
звук, похожий на медленный свист.*

...Поэзия — это, прежде всего, орудие, средство. Средство человеческого общения. Прочитать стихи какого-либо поэта — значит соприкоснуться с другим «я». Это «я» предложит тебе ни много ни мало — образ всего мира, явленный в слове. Явленный в том виде, каким мыслит и чувствует его автор.

Итог встречи двух «я» — авторского и читательского — может быть самым различным. Ты можешь за какие-то считанные минуты прожить еще одну яркую и содержательную жизнь, обогатить и умножить свое существование. Или с раздражением отложишь книгу в сторону: насколько банально и плоско то, что предлагается тебе в качестве откровения!

* 1. «Беседуя с тобой...» Кемеровское книжное издательство, 1979.

2. «Земной парус». М.: Современник, 1982.

3. Периодика последних лет.

Что же выносим мы из знакомства с поэтическим миром Владимира Иванова? Кто он, его лирический герой, вокруг которого вращается этот мир?

Прежде всего, герой этот отличается завидным душевным здоровьем. Бытие для него — праздник:

*Когда под грохот ледохода
легко по берегу бредешь,—
и эту жизнь,
и эти годы,
последний снег
и первый дождь —
все вышшим благом сознаешь!*
(«Вот солнце, выкатившись, гонит...»)

В нем, в этом мире, «где каждый час отмечен новизной», все время происходят бурные перемены — «как в первый день творенья»:

*Вот этой луже
завтра плавать в небе.
И рыхлый снег кипит, журчит давно.
И в почве,
там, откуда выйдет стебель,
уже лежит и теплится зерно.*

(«Как долго ждет природа обновления...»)

Лирический герой не просто любит этот бурный мир — он спешит принять деятельное участие в его пересотворении:

*Солнце — к зениту спешит,
руки — к любимому делу.*

(«Снова слетелись грачи...»)

У него, жизнелюбивого и деятельного, немалые планы на будущее: «Мне многое надо обдумать и многое надо успеть!» — восклицает он («Уже предосенней прохладой...»).

При всем при этом он отнюдь не «непробиваемый оптимист». Он рассказывает нам и про такие минуты, когда

*Мне никто был не в силах помочь.
Как длинна была ночь до рассвета!
И откуда
светило взойшло
и завеса ночная упала,—
сколько мрака
на душу легло
и тревоги мне в сердце запало!..*

(«Полыхали зарницы всю ночь...»)

Строки эти проникнуты драматизмом и тревогой. Но не безнадежностью: ведь, как следует из стихотворения, тягостные переживания отступят перед лучами восшедшего солнца.

Готовый откровенно поделиться с нами своими радостями и печалью, лирический герой, впрочем, куда охотнее слушает других: «...Между тем ты говори! — Буду слушать от вечерней и до утренней зари» — обращается он к вагонному попутчику, и вот уже обоим кажется, что знакомы они «не вечер, а много-много лет» («Ночная беседа»).

Когда меж людьми возникает настоящая дружба, даже пустячный разговор исполнен для них большого смысла:

*Но эти пустячные были
я больше всего бы ценил:
неважно, о чем говорили,
ведь главное —
с кем
говорил!*

(«Найду настоящего друга...»)

Снова и снова возникает в стихах Владимира Иванова эта тема откровенного дружеского разговора. Недаром первый сборник молодого поэта так и назывался — «Беседую с тобой». Лирический герой всегда деликатен, тонок, внимателен к собеседнику. Вот он беседует с заядлым пессимистом, утверждающим, «что жизнь — лишь прыжок до могилы, мучительно долгий прыжок».

*Толкует он резко и веско,
быть может, имея права.
Я слушаю все с интересом,
но верю —
в другие слова.*

(«Мой старый угрюмый приятель...»)

Заметьте! несогласие с собеседником не мешает ему слушать с интересом, сочувственно.

В стихотворении «С поклона по утренней влаге...» говорится о встрече с незнакомым человеком, который, «как зверь на период болезни», забрался подальше от людей в глухую чащу. Герой ведет диалог не только с людьми, но и с природой: «И чей-то голос из травы к себе прислушаться зовет» («Макушка лета»).

Да, он именно прислушивается, всматривается, все время стараясь поставить себя на место того, с кем он имеет дело. Стихотворение «Встреча», развивающееся поначалу в довольно обычном ключе: «У лесного водопоя повстречались в мире двое» — человек и зверь, и браконьер стреляет в лося, — заканчивается неожиданными пронзительными строками:

*...Как старался он ногами
удержать земную твердь!*

То есть сознание поэта на какой-то миг как бы переносится в начинающее гаснуть сознание раненого животного. Такое растворение себя в других вообще характерно для многих стихов Иванова: «Я растворился, стал травой, землей и небом...» («Ушел я на зеленый зов...»).

...Многие сейчас жалуются на дисгармонию окружающего мира и приходят порой к выводу, что дисгармония — печальный, но неизбежный удел современного человека. Всем своим существованием лирический герой Владимира Иванова доказывает, что гармония между человеческой личностью и «большим миром» — отнюдь не бесплодная мечта. Он обладает натурой если не гармоничной, то, во всяком случае, цельной, ясной, целеустремленной. И, общаясь с ним, невольно «заражаешься» этим светлым мироощущением.

Характерно, что герой этот совпадает с реальной личностью поэта. Владимир Иванов не испытывает ни малейшего желания выглядеть в своих стихах лучше или хуже, чем в действительности. Он пытается честно и добросовестно извлечь уроки из своей биографии. Вот она.

Родился в 1948 году. Окончил в своей деревне Банново восемь классов, в районном центре Крапивино — десятилетку. Работал механизатором, сотрудником районных и городских газет. Заочно окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Служил в армии.

Можно сказать, незатейливая биография. С еще большим правом можно утверждать: биография богатая. По крайней мере, она дала Владимиру возможность соприкоснуться со многими людьми. Главным в биографии он считает свое деревенское происхождение. Из многих его стихов струится тихий свет деревенского детства:

*Чудится:
дорога,
тихий август,
с мукомолья одинокий воз.
Ветер оживительную влагу
на хлеба дозревшие донес:*

.....

*Внутреннее с внешним так согласно,
что себя я чувствую во всем...*

(«Воспоминания о детстве»)

«Внутреннее с внешним так согласно...» Вот они, истоки душевного лада в его стихах!

«Только слыша музыку отдаленного оркестра (который и есть оркестр души народной), можно позволить себе легкую игру», — писал Александр Блок.

Молодой поэт все время слышит этот оркестр. Говоря точнее, он сам чувствует себя одним из голосов огромного хора, и главное для него — не фальшивя вести общую мелодию.

Душевное здоровье, несуетность, сочувствие живому — все то, о чем говорилось выше, эти личные черты поэта являются в то же время родовыми чертами. Земледелец, человек самой мирной на земле и благородной профессии, за века выработал неписанный, но твердый свод моральных и эстетических принципов, громадную ценность которых мы (далеко не в полной мере!) еще только начинаем осознавать.

Владимир Иванов чувствует себя наследником этих принципов, их вестником и глашатаем в современном мире. Заветное для него — это завещанное предками-хлебоборами. Ни на секунду не покидает его ощущение кровной связи с ними:

*Душа поет и торжествует
с землей живительную связь!*

(«Сошли снега...»)

«С землей живительная связь» — меньше всего это красивый образ, метафора. Это — ясная и осознанная позиция автора, внутренний двигатель его творчества.

Стихов, воспевающих сельский труд, у автора довольно мало, но точка зрения хлебобора почти всегда присутствует в них, в том числе и на «городские» темы.

В стихотворении «Межсезонье» описывается то унылое время года, когда «с неба сутками сеет обложная тоска». Но элегические мотивы быстро сменяются другими. Автор напоминает сам себе, что

*...для чахлых растений,
для деревьев и нив
это очень осенний
и целебный мотив.*

Ранние стихи Владимира Иванова о его «малой родине» проникнуты безмятежным, умиротворенным настроением («Утром», «Петухи», «Тишина»). Но в лирике последних лет все чаще прорываются другие интонации:

*Когда завижу рощу, рожь,
и нашу Томь, и даль за нею,—*

*хочу унять глухую дрожь,
но сердцем плохо я владеею.*

(«Бродить по тропке полевой...»)

Это взволнованное, почти болезненное признание далеко не случайно. Ведь большая любовь — это всегда большая боязнь, тревога за предмет любви. Тем более, когда находишься в разлуке с ним. А герой стихов Владимира Иванова — в разлуке. Пусть разлука эта добровольна, пусть она — «осознанная» необходимость для многих сыновей деревни, желающих приобщиться к вершинам культуры, — от этого она не делается менее горькой.

Чувством шемящей печали проникнуто одно из лучших стихотворений Иванова:

*По тайному зову,
по давнему следу
сквозь редкий окол
вдоль хлебных полей
на родину еду,
на родину еду.*

Поездки все реже...

И путь все длинней...

*И снова пространство покоя и грусти
в мерцающей дымке родимых берез
порою подступит —*

мелькнет и отпустит.

*Порою подступит —
доводит до слез.*

(«На родину еду...»)

Можно, конечно, почаще приезжать сюда — помочь заготовить сена и дров престарелым родителям и утешать себя тем, что теперь «они на зиму избавлены от тех забот». И все же нельзя избавиться от ощущения неясной тревоги и вины перед ними: «Но все ж — в каком живу долгу — того не выразить словами...» («И вот решусь...»)

Вся поэзия Владимира Иванова — это и есть постепенная, по мере сил, выплата этого долга перед родной землей.

Мировоззрение молодого поэта, глубоко народное по своему существу, определило и выбор его художественных средств. Многие исследователи отмечают одну характерную черту народного быта. Любая вещь обладает здесь одновременно и утилитарной, и эстетической функцией, причем они несколько не противоречат друг другу. Вещь крепко, надежно сложена и в то же время красива неброской, тихой, затейливостью. Это относится и к орудиям труда, и, что еще важнее, к орудиям общения — языку. Даже обиходный язык народа насквозь поэтичен, образен. По выражению Гоголя, тут иное название драгоценнейшей вещи. Владимир Иванов остро чувствует это. «Полыхают всюю хлебозоры»; «что ж

так поздно расцвел, колокольчик, безрассудный ты мой погромок?», «макушка лета», «пытать разговором» — такое нельзя вычитать из книг.

Однажды при мне два человека с высшим образованием спорили, как правильно произносить: далеко или далёко? Для Иванова не существует такой проблемы:

*Тянет дымом, свежестью весенней,
и видать далёко-далеко, —*

пишет он, и это совершенно правильно.

Растения для Иванова — не некое безликое «разнотравье» (это словечко стало довольно модным среди современных литераторов), а богатый и разнообразный мир, где все имеет свои названия:

*...и, розовея,
горит соцветие кипрея.
На тонкой ножке ветру вслед
головки клонит горчицвет.
Тысячелистник, звербой
и мязкий спорыш под ногой...*

(«Была земля голым-гола...»)

Поэт следует и народной традиции олицетворения, одушевления природы. Как к своим добрым старым друзьям, обращается он к цветам и деревьям, животным и птицам. В этом же — истоки его многочисленных параллелизмов:

*Зажглась веселая заря!
В седые ветви ноября
влетали птицы торопливо,
а мы — в вагон.
И — в путь счастливый!*

(«Зажглась веселая заря...»)

Сближение жизни людей с жизнью природы подчеркивает единство всего сущего, вообще характерное для поэзии Иванова.

...Мы говорим иногда как об особом достоинстве поэта: «Его можно узнать по одной строчке!» Это обычно относится к литераторам, пишущим в броской, эффектной манере. Такие поэты тщательно оберегают свою индивидуальность, которая на поверку оказывается ничем иным, как хаосом случайных потребностей духа. Объективную истину они воспринимают как тиранию. Главное для них — бросить вызов всему общепринятому, как будто в этом вызове заключается суть творчества. И происходят парадоксальные вещи. Поэты с «ярким» стилем зачастую только нивелируют свои творческие индивидуальности. Ведь все в их поэтических системах подчинено одному-двум «оригинальным» принципам. Эти принципы становятся жесткими догмами, сковывающими живое «я» поэта, а «экспрессивный» стиль оборачивается банальной манерностью.

Владимир Иванов не озабочен «сбереже-

нием» своей творческой индивидуальности. Он как бы забывает о ней, заботясь о главном — «увидеть мир, каков он есть», по выражению Леонида Мартынова, отдавшего немалую дань формальным экспериментам и буквально пострадавшего эту истину.

В одном из критических отзывов о его творчестве я встретил такое выражение: «Негромкий, но чистый поэтический голос». Критик, видимо, хотел похвалить поэта, и все-таки было что-то извиняющееся в этом «но».

Разве громкость, взятая сама по себе, является положительной величиной? И что такое вообще «громкость», то есть сила поэтического голоса? Не измеряется ли она прежде всего силой поэтического воздействия на наши читательские души? Если так, воздействие будет тем сильнее, чем правдивей, живей, сокровенней будет этот голос. В этом смысле голос В. Иванова достаточно громок.

В других критических статьях говорилось о «простоте, даже простоватости» стихов Иванова. И опять же — что понимать под поэтической простотой? Вот четверостишие, очень типичное для автора:

*Назрело, это назрегда:
твердить опять в своем напеве,
что нажурчала мне вода,
что наметтали мне деревья.*

(«Бродить по тропке полевой...»)

Вчитайтесь, вслушайтесь, насколько тонко инструментована эта строфа. Рифмуются не только первая и третья, вторая и четвертая строки. Слово «деревья» заключает в себе «д», которое есть в словах «вода» и «навсегда», а во второй строфе «д» аукается в слове «твердить». В этом же слове есть «р», которого не хватало бы в «напеве» для точной рифмы с «деревьями». Еще более сложно перекликается в этом четверостишии звук «в»... Даже такой поверхностный звуковой анализ стихов Иванова показывает, что строение их далеко не просто.

Что, казалось бы, может быть проще обыкновенного куска хлеба? А между тем ученые обнаружили в запахе свежесвепеченного хлеба 150 сложных химических соединений. Подобным образом устроена и материя настоящих, хороших, неподдельных стихов. Это относится не только к Владимиру Иванову. В последние годы среди литераторов, живущих в Кузбассе, выдвинулась целая плеяда поэтов: Валерий Зубарев, Александр Раевский, Любовь Никонова, Валерий Ковшов, у которых при яркой индивидуальности каждого есть и нечто общее. Это общее заключается в стремлении следовать правде жизни. В них начисто отсутствует поза. Они — от мира сего. Для того чтобы ощутить их индивидуальность, недостаточно прочитать «пару строк». Для этого нужно

вжиться в их разнообразные, непростые в своей естественности поэтические миры. В своей творческой практике они следуют заветам своих старших товарищей по перу: Михаила Небогатова, Виктора Баянова, Валентина Махалова, Геннадия Юрова, в то же время творчески перерабатывая и некоторые находки «громкой», «эстрадной» поэзии.

Поэзия — это всегда движение, путь. Сказать, что путь Владимира Иванова прям и ведет только вверх, было бы неверным.

То завидное единство мысли и чувства, отличающее его стихи, в последние годы обнаружило стремление к «кристаллизации», отделению друг от друга. Хорошо сказал об этом сам поэт: «Улицу перебегают света четкая струя. И крадется мысль нагая к темным тайнам бытия».

Эпитет «нагая» точно выражает свойство мысли обнажать суть явлений. В. Иванов все чаще пытается это делать. Если раньше он довольствовался тем, что выхватывал своим лирическим зрением и доносил до нас «кусочек жизни», то теперь наблюдения для него — лишь отправная точка для обобщений, имеющих философский характер.

(Характерно, что подобная эволюция произошла с теми поэтами, о которых я только что упоминал. От нежных акварелей сборника «Говорил со мною ветер» Валерий Зубарев перешел к натурфилософским обобщениям книги «Мыслящий огонь»; героиня Любови Никоновой уже не довольствуется звонкой неповторимостью мгновенья — сборник «Скрипичный ключ», а хочет уяснить сущность жизни, понять причины ее возникновения. Об этом говорит само название ее последнего сборника — «Праземля».)

Процесс естественный. Следует признать, что этот путь привел Владимира Иванова к некоторым обретениям. Свидетельство тому — новая вещь В. Иванова «Два снимка сороковых годов» (альманах «Огни Кузбасса», 1985, № 4).

Это маленькая поэма. Она построена предельно четко и, казалось бы, просто. Автор вглядывается в две пожелтевшие фотографии из семейного альбома, и вдруг люди на этих фотографиях оживают, начинают двигаться и говорить. Мы становимся участниками двух застолий — довоенного и послевоенного.

Юностью и весельем веет от довоенной фотографии, запечатлевшей свадьбу его будущих родителей. Мажорное настроение как нельзя лучше передают бойкие ритмы частушек. Мы заражаемся беззаботным настроением и как-то забываем о том, что готовит участникам свадьбы завтрашний день. Поэт напоминает об этом. В небольшом лирическом отступлении он размышляет о «сорок тяжком годе», когда погибли вот эти дяди Коли, дяди Гриши, сидящие за праздничным столом, когда «прибавит лиха

недорог на высохшем колхозном поле», когда женщины будут петь совсем другие песни:

*Век бы глаз не отрывала
от родимого лица.
Дорогова провозжала
я на фронт из-под венца.
Нет ни весточки, ни вести
мне давно с передовой.
То ль повенчанной невестой,
то ль осталась я вдовой.
Неужели мой любимый
умер во поле от ран,
и война перерубила
мне судьбу напополам?..*

Но пробьет долгожданный час, и наступит «сорок светлый год». «Молитвой бабушки хранимый», как невесело шутит поэт, вернется с фронта раненый отец. Сойдутся в его доме односельчане и почтят память тех, кто не пришел с войны. В этот светлый и печальный день и запечатлел их «трофейный фотоаппарат». Они сидят уже «по эту сторону войны», и мы ощущаем на себе их задумчивый и вопрошающий взгляд.

Две фотографии... Два запечатленных мига из жизни одной семьи. Но, кажется, с фотографий этих на нас глядит само Время. На очень небольшом словесном пространстве Владимир Иванов сумел уместить немалое содержание. Здесь говорят друг с другом эпохи — довоенная, послевоенная, наш сегодняшний день и день завтрашний:

*Из первых рук нам вышли годы
послевоенной тишины.
Нам сохранить бы это время,
нам тишину сберечь вокруг...*

Оптимистическое, трагичное, бесшабашное и горькое произведение это исполнено жизни и глубины. А глубина в искусстве всегда оборачивается высотой. «Два снимка сороковых годов», мне кажется, — лучшее из написанного Владимиром Ивановым в последние годы.

...Да, герой стихов В. Иванова — человек «от мира сего». Но не только. В прекрасном стихотворении «Выбор», написанном свободным стихом, говорится о крылатом коне, который зовет крестьянского сына в дальнюю дорогу. Тому стыдно, что не оправдал родительских надежд. Но еще сильнее в нем жажда неизведанного пути, который и называется Поэзией.

...Незаметно, исподволь, но все более прочно входит в наш обиход поэзия Владимира Иванова. Строки из его стихов цитируются в газетных статьях, мы вставляем их в житейские разговоры. Значит, строки его живут. А для поэта это главное.

Юрий Пыль

СТАРИК И СТАРУХА

Старуха была краткой.

— Пойди, старик, попроси у золотой рыбки дачный участок.

Пошел, попросил...

Пуще прежнего взбеленилась старуха.

— Дурачина ты, простофиля, что мне участок без домика. Пойди, старик, попроси маленький двухэтажный домик на наш участок.

Пошел, попросил...

— А каким же образом я добираться буду до нашей дачи, нешто на электричке буду париться? Машину надо. Пойди...

Пошел...

г. Новокузнецк

Ничего не сказала золотая рыбка, потому что свидание с ней работники ОБХСС не разрешили. А старика стали подробно, подробно расспрашивать...

Вскоре старуха получила от старика письмо: «Золотую рыбку увидеть не могу, потому что сидим мы в разных камерах. Пришли хотя бы пачку сухарей».

Не прислала старуха сухарей, потому что вышла замуж за другого старика, который был знаком со щукой.

Стоило сказать:

— По щучьему велению...

Дина Калитина

ПРО КУРОЧКУ РЯБУ И ЗОЛОТОЕ ЯИЧКО

Жила-была Курочка Ряба. Сидела на насесте с подселением, несла яйца, изредка переругиваясь с соседками. И так бы прожила до пенсии, но вдруг... снесла яйцо. Не простое, золотое. Прибежали подруги по коммунальному курятнику, смотрят на чудо, квохчут от удивления. Пришел и Петух. Пожал Курочке крыло, посоветовал: так держать. Тут и подруги стали поздравлять Рябу, обнимать. Корреспонденты набежали, спрашивают, производственными планами интересуются. Петух, энергично встряхнув гребнем, ответил за Курочку, которая от всеобщего внимания дар речи потеряла:

— Ряба теперь у нас пример не только для нашего курятника, но и для всей птицефермы. И берет обязательства — еженедельно нести по золотому яичку.

Хохлатке поздравления приятны. Однако головы не потеряла, засомневалась: «А вдруг не справлюсь».

— Не бойся! Коллектив поможет, — подбодрил Петух.

Курочке отдельный насест выделили. Воду Ряба пьет только родниковую, зерно клюет отборное. А яйца... по-прежнему несет обычные.

Товарки с коммунального насеста на Куроч-

ку осуждающе поглядывают. Пришел Петух. Созвал собрание, проанализировали работу Курочки.

— Ты, Ряба, тнешь назад весь курятник, — осудил хохлатку коллектив. — Надо мобилизовать резервы.

Однако обязательства все же скорректировали — теперь Курочка должна была ежедневно нести по золотому яичку.

Прошла неделя, другая. Ряба сидит на своем индивидуальном насесте, глаза поднять боится. Родниковая вода в клюв не лезет, отборное зерно в горле застревает. Петух в сторону Курочки и смотреть не хочет. От страха

г. Прокопьевск

Ряба яйцо вообще без скорлупы снесла.

Снова Петух созвал собрание. Коллектив осудил Курочку за срыв обязательств, призвал мобилизовать все ресурсы и резервы. Но задание скорректировал и в этот раз: теперь Ряба обязалась нести золотые яйца ежеквартально.

Много ли, мало ли прошло времени, но не больше трех месяцев. Ряба не ест, не пьет, со своего насеста и голоса не подает. Яйца же не только золотые, простые нести перестала. И совсем было собралась Курочка переходить в другой курятник, но... другая хохлатка, Чернушка, снесла золотое яичко.

Василий Афанасьев

ЧИСЛО ТРИНАДЦАТЬ

Тринадцать! Этой цифры, этой даты Панически боялся Агафон. Однако за тринадцатой зарплатой Одним из первых мчался в кассу он...

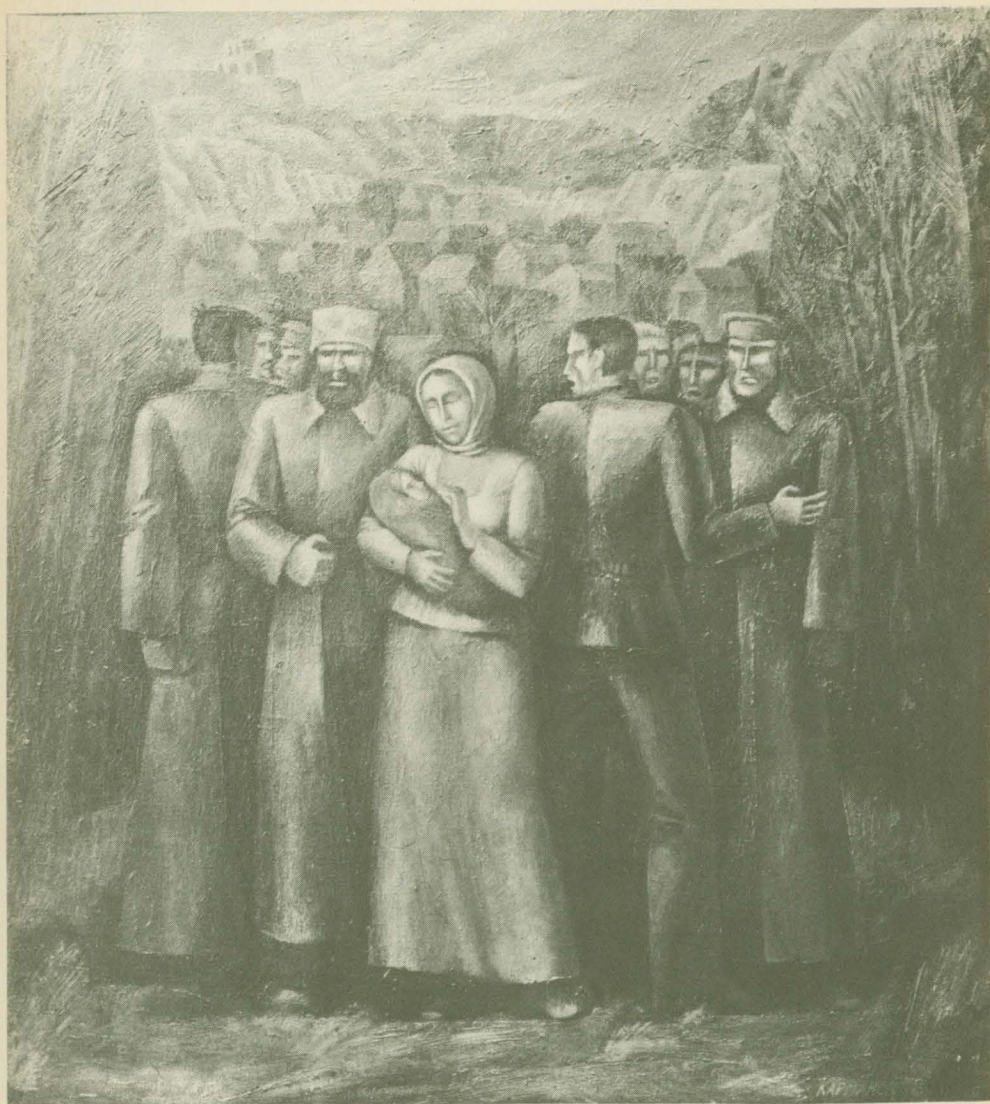
СОБАКА О ХОЗЯИНЕ

— Я с ним держусь накоротке, Вожу его на поводке.

ТЕКУЩИЕ ДЕЛА

— Скажите, что у вас в портфеле?
— Да так, текущие дела. Ложь сущей правдою была. Я убедился в том на деле: Упал хозяин — вдрызг стекло, И из портфеля... потекло...

г. Новокузнецк



Виталий Карманов (г. Новокузнецк). Красный Октябрь. Х., м.

